С. ПОДЪЯЧЕВ

РЕВНОСТЬ



ИЗД-ВО З. И. ГРЖЕБИНА
ПЕТЕРБУРГ-БЕРЛИН


ΚΤΗΜΑ
ΕΓΣ
ΑΕΙ

СЕМЕН ПОДЪЯЧЕВ

РЕВНОСТЬ

РАССКАЗ

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН / ПЕТЕРБУРГ / МОСКВА
1923.

СЕМЕН ПОД'ЯЧЕВ.

О Семене Под'ячеве читай предисловие к его рассказу «Жизнь мужицкая».

На тему о ревности великий Лев Толстой написал суровую повесть «Крейцерова соната»; герой повести, Позднышев, рассказывает о том, как он, подозревая жену свою в измене, обезумел от подозрений и убил ее. «Крейцерова соната», написанная с огромной силой, беспощадно резко взволновала весь мир, вызвала ожесточенные споры и нападки на Толстого; тогда он написал «Послесловие» к повести и об'яснил в нем, что именно хотел он сказать людям. По его мнению, чтобы уничтожить звериное чувство ревности, создающее столько страданий и преступлений, нужно воздерживаться от внебрачных и умерять — по возможности — даже брачные половые сношения, а чтоб люди могли воздержаться от этого, они должны вести естественный образ жизни, не пить, не об'едаться, не есть мяса, не избегать и труда — не гимнастики, а утомляющего, не игрушечного труда — не допускать даже в мыслях своих возможности общения с чужими женщинами, так же, как всякий человек не допускает такой возможности между собой и матерью или сестрами. Надо, чтобы изменился взгляд на плотскую любовь, чтобы мужчины и женщины воспитывались в семьях и общественным мнением так, чтобы они и до и после женитьбы не смотрели на влюбление и связанную с ним плотскую любовь, как на поэтическое возвышенное состояние, — как на это смотрят теперь, — а как на унизителное для человека животное состояние, и чтобы нарушение обещания верности, даваемого в браке, казнилось бы общественным мнением, по крайней мере, так же, как казнятся им нарушения денежных обязательств и

торговые обманы, а не воспевались бы, как это делается теперь, в романах, стихах, песнях, операх и. т. д.

Надо перестать думать, что любовь плотская есть нечто особенно возвышенное, а надо понять, что цель, достойная человека — служение ли человечеству, отечеству, науке, искусству ли (не говоря уже о служении Богу) — какая бы она ни была, если только мы считаем ее достойной человека, — не достигается посредством соединения с предметом любви в браке или вне его, и что, напротив, влюбление и соединение с предметом любви (как бы ни старались доказывать противное в стихах и прозе) никогда не облегчает достижения достойной человека цели, но всегда затрудняет его.

Выше сказано, что повесть написана Толстым очень ярко, она мучительно раздражает читателя, безжалостно и резко задевая самые чуткие струны его сердца, но, раздражая, она не убеждает, не дает возможности сердечно согласиться с автором. Герой ее — человек больной, в отрочестве он был онанистом, — он сам сознается в этом, говоря: «уединения мои были не чисты», а онанизм, разнуздывая чувственность, неизбежно ведет или к болезненному распутсву или к половому бессилию, — в обоих случаях он совершенно искажает воображение, всецело подчиняя его половому инстинкту, крепко держа разум в плену функции — отправления — одного, определенного органа.

Позднышев изображен Толстым безжалостно, он не симпатичен, страдания его не вызывают сострадания читателя. Рассуждает он, как безумный, доходя в своей ненависти к женщине до проповеди «воздержания от деторождения во имя нравственности», забыв, что не «человек для Субботы, но Суббота для человека», а — это уже говорит о презрении Позднышева к самому себе, о его взгляде на себя, как на животное.

Каждая идея есть зародыш другой идеи, лучшей. Если человек, любуясь красотою или силой идеи, перестает

заботиться о дальнейшем углублении и развитии ее, — она его порабощает, становится мертвым догматом, ярмом его души и постепенно убивает свободу расцвета духовных сил. Человек превращается в орудие той призрачной силы, которую он сам же воспитал в себе и умертвил, которая кажется ему истинной, обязательной для всего мира, хотя в сущности своей она, подобно злокачественной опухоли, истощает все его способности, отравляет весь организм.

Позднышев — человек догмата. Несмотря на мастерский рисунок Толстого, Позднышев все-таки не живой человек, довольно неудачная попытка иллюстрировать законоположение индусско-буддийской религии, — религии, которая очень восхищала Л. Н. Толстого. Законоположение это гласит:

«Всякое существование есть страдание, но в страдание оно обращается благодаря желанию; следовательно, — чтобы уничтожить страдание, надо уничтожить желание, а чтобы уничтожить желание, надо перестать жить.»

Может быть, это очень хорошо и полезно для некоторых, но совершенно не приемлемо для множества наиболее энергичных, живых, действенных людей. Все эти люди желают именно любить, хотя бы и грешной любовью — если существует такая любовь, — любить, чтобы воплощать свою энергию в жизнь, любоваться своей любовью, радоваться о ее красоте, — любить женщину, мать мира, от которой пошли все племена, и народы, и — что еще ценнее народов и племен — поэзия жизни.

Женщина родит не только детей; это заслуга всех животных: — женщина, возбуждая в мужчине тяготение к ней, родит в нем прекрасные песни, человечью нежность, героические чувства, побуждает его на подвиги самоотвержения, вызывает в нем желание делать для нее красивые вещи, быть лучше всех людей земли, бороться за нее, совершать всякие безумства, — женщина является возбудителем лучших стремлений духа и если — порой — возбуждает желания преступные, надо, все-таки, помнить, что духовная

жизнь мира — в огромной ее части — творится женщиной посредством сил мужчины ею возбужденных.

Едва-ли явится когда-либо религия настолько мощная, чтобы преобороть влечение к женщине, — христианство пробовало сделать это, по самой мощной организацией христианства явилось католичество, приняв поклонение Богоматери и отодвинув куда-то в сторону аскетизм Христа и апостолов Его. Там, где женщина оценена достаточно высоко, — дух народа воплощается в прочной и мощной реальности исторического труда, и допустимо утверждать, что процесс развития европейской культуры именно потому так значительно опередил медленный рост культуры Азии, что женщина Европы более человек, чем немые рабыни Востока.

Это не спор со взглядом Льва Толстого или с учением буддизма, это только мнение, которое имеет право свободно существовать рядом со всеми другими мнениями. Каждый может думать, как ему угодно, каждый волен смотреть на мир своими глазами, — никто не имеет права навязывать свои мнения другому, как обязательную, непререкаемую истину. Убеждать необходимо, но насиловать — преступно. Мир единодушно примет единую истину, когда весь он будет иметь одну голову — не ранее того. До той же поры, — истины будут мучительно создаваться и погибать, блуждая и сталкиваясь друг с другом, подобно кометам, озаряя мир яркими взрывами своей гибели и свидетельствуя о неукротимом росте духовных сил человека.

Л. Н. Толстой считал истиной, что «в нашем обществе, где влюбление между молодыми мужчиной и женщиной, имеющее в основе все-таки плотскую любовь, возведено в высшую поэтическую цель стремлений людей, свидетельством чего служит все искусство и поэзия нашего общества, — молодые люди лучшее время своей жизни посвящают: мужчины на выглядывание, приискание и овладевание наилучшими предметами любви в форме любовной связи или брака; а женщины и девушки — на заманивание и вовлече-

ние мужчин в связь или брак. И от этого лучшие силы людей тратятся не только на непроизводительную, но на вредную работу.»

С этой точки зрения «непроизводительной и вредной работой» является и любовь блудницы Марии Магдалины ко Христу и любовь Данте к Беатриче, любовь Гарибальди, Ромео и Джульеты, кавалера Де-Грие — все прекрасные поэмы и драмы той любви, которая создала их и тем научила нас чувствовать в женщине не только самку, но существо, душа и тело которого способны заражать мужчину всеми желаниями, творящими великие ценности планетарной культуры, — существо, которое порою — и не редко, — облагораживая животные начала человека, возбуждает работу его мысли, полеты его творчества.

Рассказ Под'ячева, конечно, не ставится рядом с повестью Л. Н. Толстого. О Под'ячеве, как художнике, можно и не говорить, — страшный его рассказ говорит сам за себя, — сопоставление этих двух разноценных произведений слова вызвано только единством их темы. Рассказ Под'ячева интересен тем, что это почти первый рассказ, в котором мужик выступает не обычно, — не как бессменная жертва социальной несправедливости, или герой анекдота из жизни деревни, или искатель правды, — он взят Под'ячевым просто, как человек, который по своему любит жену, ревнует ее и мстит ей за то, за что следовало бы только пожалеть ее. Очень характерно, что русские литераторы на протяжении почти сотни лет, всесторонне изображая жизнь мужика, почти не касались этой стороны его жизни, — потребовалось, чтоб сам мужик стал литератором и страшно просто рассказал нам о мужицкой ревности.

Герой рассказа Под'ячева, конечно, не «об'едался», не «избегал труда», в нем нет ничего похожего на героя «Крейцеровой сонаты» и — по Толстому — этот простой, здоровый человек не должен бы испытывать чувство ревности, мучить себя и жену. Однако, он замучил себя и убил женщину.

Он ничего не знал о том, как люди «образованные до глупости восхваляют любовь» в стихах и прозе, и все-таки он, видимо, любил жену так же страстно и владычно, как любят и ревнуют образованные.

Очевидно, дело не в том, чтобы не поэтизировать любовь, а в чем-то другом и — всего вернее — именно в недостатке понимания необходимости поэтизировать — возвышать — любовь. Эта необходимость существует, ее начала скрыты в глубокой древности, ее истоки — в душе народа, она не выдумана нарочито по капризу «образованных» людей, но вызвана в психике оскорбительным сознанием двойственности человеческого существа, — возникла на почве мучительной борьбы животного начала со старой природой человека — с духом его и непобедимым стремлением духа к радостям красоты.

Природа наделила человека органом оскорбительно двойственного назначения: орган, который дает высшее, нежнейшее наслаждение и — в древности — был обоготворен, — выполняет вторую грубую функцию. Вполне естественно и разумно стремление человека возвысить и облагородить первую функцию, ибо она наиболее способствует пышному расцвету его духовных сил.

Рассуждая о любви, о женщине, люди излишне твердо помнят — к вреду для себя — о том, что у них есть желудок, кишки, почки и все другое, что низводит их к животным, но — они недостаточно высоко ценят тот факт, что силою духа своего человек создал все прелести и чудеса земной жизни; все сокровища ее, — идеи, вся красота, все, что постепенно становится второю природой нашей, — все это результат его творчества. Забыть — значит умертвить, а потому забвение о том, что унижает и оскорбляет нас столь же полезно, как полезна память о всем, что возвышает гордость человека его трудом и способно укрепить веру людей в самих себя.

Редакция

РЕВНОСТЬ

I.

Агафья проснулась рано, часу в четвертом, и потихоньку, как была в одной рубашке и босая, вышла из избы на крыльцо посмотреть, какова погода.

Погода стояла хорошая. На улице было тихо, безмятежно. Небо чисто, безоблачно и все усыпано звездами, особенно ярко сверкавшими под утро. Серп месяца, тонкий и молочно-бледный, окруженный нежиой дымкой, висел в беспредельной шири неба, на западе, и тихо горел точно далекая, готовая погаснуть, лампада...

Легкий морозец, бодрящий и крепкий, чувствовался в воздухе, наполненном особенным, странным, почему-то нагоняющим тихую грусть, осенним запахом.

Где-то далеко звонил сторожевой колокол, мягкий, тоскливо-певучий звон плыл, не нарушая тишины, а, напротив, придавал ей еще более таинственную прелесть...

Агафья постояла немного, послушала и, вздрогнув от холода, пошла обратно в избу.

Прошла, стуча жесткими пятками по полу, к печке и, нащупав в печурке коробочку спичек, «засветила» висевшую над столом стеклянную, небольшую лампочку с тусклым, нечищенным стеклом.

Огонь осветил небольшую, аршин семи-восьми, старую из почерневшего от времени леса избу, убогую и неряшливую на вид...

На долу, около передней стены, поперек всей избы, брошен грязный, засаленный матрасник, на котором, укрывшись с головой дерюжиной, спал, храпя на всю избу, Агафьин муж, Левон... Рядом с ним, разметавшись и

раскинув ручонки, лежал навзничь с разинутым ртом и тоже крепко спал, мальчик лет пяти, их сынишка, Спирька...

Большой, черный, с из'еденными ушами, кот лежал у него в ногах и, запрокинув морду, усердно облизывал себе спину.

Около порога, в углу, лежал на соломе небольшой, рыжий, привязанный за шею веревкой, теленок и громко, смешно чмокал губами, как будто бы целовался с кем-то крепко и сочно. Около него, из под соломы, по полу, осевшему к печке, стекал ручей, издавая сильный, острый, щекотавший в горле запах.

На лавках и около печки на казенке валялись какие-то тряпицы, одежонка. В переднем углу на столе стояли чайные чашки и небольшой жестянный самовар.

Агафья слазила на печку за валенками, обула их, надела на себя плохенькое платьишко, подправила под повойником волоса, умылась и, дунув на пальцы, встала посреди избы перед «святыми иконами», висевшими в ящичке, похожем на сокровищницу; она начала молиться Богу, то и дело бултыхаясь в землю и громко шепча что-то, понятное только ей, где то и дело слышалось: «Заступница, матушка», «Суси», «Андел Господний», и в то же время, шепча молитвы, часто зевала, торопливо крестила рот и скребла голову двумя пальцами левой свободной руки, все подправляя волосы под повойник...

Помолившись, взяла со стола самовар и понесла его ставить к печке. Около печки, на скамье, стояли ведра с водой и—в корчаге—угли. На шестке лежала, приготовленная еще с вечера, лучина. Устье печки было не закрыто заслонкой и в печке виднелись дрова, тоже положенные туда с вечера, чтобы, утром не возиться, и не громыхать ими.

Проходя с самоваром мимо лежавшего на полу мужа, она приостановилась и, легонько толкнув его ногой по голой, высвободившейся из под дерюжины ноге, сказала вполголоса:

— Левон, а Левон, спишь, что ли?...

— Ну-у-у? — раздалось из под дерюги и голая нога спряталась под нее.

— Вставай!... Свет на дворе..., я самовар ставить хочу... иттить мне скоро...

— Успеешь! Чего ты эдаку рань полетишь?... Чай, не к спеху... Ишь тебя подняло спозаранку... загорелось... не спится...

— Тебе, оглашенному, все рано... аль не выспался? Ночь-то, слава те Господи, год... бокам больно... Вставай... вставай... брось, поди, скотине по клоку... нонче, должно, не скоро погонят, мороз... взять-то ей нечего... дай, поди! Лодарь, рад валяться... валяется, как падаль какая...

Лежавший на полу мужик откинул дерюжину и, поднявшись, сел и вытянул ноги.

— Ра-а-но! — сказал он, зевая, — ишь ты!.. Керосин только палит... с вечера жгем, по утру жгем, а он вон пять копеечек...

Агафья ничего не ответила и, сняв с самовара крышку, стала наливать в него из ведра воду.

— Ты бы на лошади ехала, — сказал мужик, глядя на нее. — Зачем пешком-то трепаться... Близкой свет!... Чего ей делается-то... также стоит, только жрет зря...

— Ну, на лошади связа одна... Опять же она не кована у нас... По эдакой дороге нешь можно... глышка на глышке... тащись в чем душа... растрясет всяе... не люблю... Я так-то живо добегу, чай, не бо знать, сколько понесу-то с собой...

— Ну, как знаешь, — сказал мужик, — треплись!

Он нагнулся, почесал между пальцев правой ноги и добавил:

— Все одно, вить, никакой толчины не будет.

— Нет, по твоему, — обернувшись к нему, сказала баба, — лежать бы вот все... Само к тебе не придет... Под лежачий-то камень, люди говорят, и вода не течет, а волка ноги кормят.

— Всего не поймаешь, что по морю плывет, — ответил мужик и, поднявшись, потянулся. — Эку рань подняло, — произнес он, зевая, — тыкайся в потемках-то, как щенок рылом... ни дела, ни покой... того и гляди лоб расшибешь... Мороз, говоришь, на дворе-то?...

— Мороз, а тихо... вызвездило... Скотину ранее, как к полдням, не выгонют.

— Чего гонять-то?... Взять-то нечего.

— Ну, все хучь погуляет...

— Только-то нешто... Вот за пастушню готовь, — помолчав, сказала баба, — обуви теплой нетути... стройка валится, того и гляди задавит... хлеба до Аксиньи полухлебницы не хватит... картошка вся... полежишь тут.

— Ну, авось проживем как-нибудь, — равнодушно произнес мужик, — слава Богу, не до креста дошли... Дакась умыться.

Он подошел к стоявшей близ порога лоханке и, засучив рукава, подставил пригоршни. Баба зачерпнула в кружку воды и, встав около него, начала поливать ему в пригоршни воду. Мужик зафыркал.

— Холодная кака, — сказал он.

— Ну, барин! — улыбаясь, ответила баба — испугался... небось красивши будешь... аще что ли?...

— Нет, будя!

— Мойся! Може, кака полюбит...

— Про меня-то, что толковать... ты-то вот таматко не запаздывай...

— Загуляю, мотри, с солдатами...

— Что зубы-то скалишь... очень просто... тебе все смешки да хаханьки... пристанет какой... ишь ты у меня какая ладья, Бог с тобой... Кабы тебя да на харчи, на настоящие, на том свете никуда не пустили бы...

— Будя болтать-то, что не надать... Иди, давай скотине-то, а я печку затоплю, самовар сейчас доспеет... Ступай, ступай, лень... Ваня домашний... Лось...

— Ну, ну, — усмехаясь, произнес мужик, с любовью и

лаской поглядывая на свою красивую, высокую, румяную бабу, — успеешь! Успеешь, тетка Агафья...

— Отстань, лешман, нашел время играть...

— А-а-а, не любишь — засмеялся мужик, — щекотно... а ты ничего... пора любить, не маханькая... Где картуз-то?...

— Лоб-то бы перекрестил, — сказала баба, — тогда и шел бы, блаславясь... татарин! На вот, твой картуз... Все подай яму, чисто барин какой...

— А то, кто жа, ты как думаешь... знамо, барин. Бог я твой и царь, что хочу, то и делаю.

— Накась, вот чего не хошь ли! Очень-то я тебя испугалась... нужен ты мне как в петровки варешки...

Мужик засмеялся и, надев фуражку, вышел за дверь, плотно прихлопнув ее за собой...

— Темно! — крикнул он из-за двери.

II.

Управясь по хозяйству, напившись с мужем чаю, Агафья стала «сряжаться» в дорогу. Она надела на себя все, что похуже, с той целью, чтобы там, куда она шла, обратили на это внимание и, глядя на ее «одежу» и «обужу», подумали: «вот, — дескать, — молодая бабенка идет, в такое место, а как бедно одета... стало быть, плохо живут».

Ноши у ней с собой не было, если не считать фунта три — четыре белых сушеных грибов, которые она несла, как деревенский «гостинец» в подарок, рассчитывая, что это тоже не вредит и что «сухая ложка рот дерет»...

— Эх, напрасно все это ты баба, — сказал муж, когда она совсем снарядилась и приготовилась идти, — ни фига, я гляжу, у тебя толчины не выйдет... так только из ног глухоту выколачивать...

— Ла-а-дно... Выйдет не выйдет — убытки не велики, а ноги-то у меня не купленные... Ну, я пойду... время... прощай, будя... сиди... ужо приду, половиночку принесу...

— Забудешь, стерва...

— Ну, вот — забуду! Я-то, да забуду!

Она нагнулась и перекрестила лежавшего на полу мальчишку.

— Напой его ужо, как проснется, чаем, — сказала она, — не забудь, мотри...

— Детушка ты моя родная, — ласково и осторожно целуя мальчишку, вымолвила она, — спит и не знает — мамка ушла... Спи, Христос с тобой! Спи, батюшка ты мой, сла-а-дкий ты мой!

— Ты, смотри, не обижай яго здесь, — поднявшись, сказала она.

— Что я, очумел, что-ли... чего мне яго обижать-то? Небось, не чужой...

— Скотину-то не прозевай выпустить, как погонят...

— Да ну тебя к шуту... иди уж, коли пошла..., указчица! Учит диви я махонький какой, не смыслю...

— Знамо не смыслишь... тебя все носом ткни... где уж тебе! Пропадешь ты без меня, как капустный червь. Да пра, ей-Богу!

Она встала посреди избы и, перекрестившись на иконы, сказала:

— Ну, я пошла... Запри за мной...

Они вышли на крыльцо и муж спросил, когда она сошла со ступенек на землю:

— Где пойдешь-то?

— На Сосновку... тутотко словно поближе ничем на Хрущево, да и дорога веселей... Прощай!..

— Ну, со Христом, ступай... Мотри, не запаздывай!

— Чего мне таматко делать-то? Делать-то нечего... Как управлюсь, так и домой... За Спирькой гляди... не попал бы, спаси Бог, в пруд...

— Ла-а-дно уж... иди!..

III.

В деревне все еще спало, только петухи перекликались между собой разными голосами, точно дразня друг дружку, да где-то на задворках громко и жалобно мяукала кошка.

Агафья прошла вдоль деревни, не доходя до крайней избы, свернула направо и пошла не по дороге, а прямо через усадьбу напрямки, чтобы сократить путь и не делать крюка, вниз под гору, к ручью, по ту сторону которого виднелся не крупный, молодой, смешанный, березовый и осиновый лесок.

Перейдя по лавам через ручей, она снова попала на дорогу и ходко, твердыми, крупными шагами, стуча башмаками по твердой земле, пошла в гору.

Стало светло, но солнце еще не выходило. Только на востоке горело небо, похожее на кумач. Кругом было безмолвно и необыкновенно как-то чутко. Казалось, что все уже давно проснулось и, проснувшись, притихло и боязно ждало чего-то, что уже чувствовало свою власть над землей и тихо, осторожно, скрывая тайну своего движения, начало, как огромный глаз, выплывать из-за горизонта, с каждым мгновением делаясь все ярче и ярче...

Агафья перекрестилась и пошла еще шибче. На душе у нее было весело и радостно. Идти хорошо — сухо, не холодно и не жарко. Она шла и думала, как придет в город к своей сестре, пожилой вдове, бездетной, давно уже живущей у председателя управы в кухарках, как подарит ей «гостинец», расскажет про свое житье, заплачет, будет просить леску на стройку.

— Матушка, сестрица, — шептала она, заранее сочиняя слезную просьбу, — проси ты, родная, барина своего за нас... попроси ты леску у него... скажи: валится, мол, стройка... подняться, мол, нечем... Попроси ты его... у него много... а ему Господь за это веку продлит... другим

вон дает... Мы бы, сестринька родима, как вот снежок напал бы и перевезли бы, пока не глыбко, по первому бы пути, благо возить-то недалеча, роща-то его рядом, сумежна с нашей землей... попроси его! Мы опосля по маленьку стали-бы выплачивать, коли уж задаром не даст он... Уплатили-бы... все бы, сестринька, уплатили до единой бы до копеечки...

— Уж только бы дал то, — в это-же время думала она, — посыкнулся бы только... увезти бы нам только из рощи-то, а там жди — заплатили!.. Нету, да и все... отдадим... должен, не спорю, а отдам — не скоро... На что ему — гладкому, деньги-то?.. Ни жаны нет, ни детей... живет аки хлыст какой... брюхо ростит... на что ему... подохнет, с собой не возьмет... И чтой-то, Господи Суси, за счастье им такое... всего по горло... за что?..

— Построились бы, — думала она, не замечая дороги, — возьми хуч, скажем, аршинную... Плотники возьмут рублей сто с четвертью... а может и меньше, коли на наших харчах... Да взаправду, ну их и с харчами-то!.. Дороже того встанет кормить-то их... с'едят! Пущай уж лучше кака красная перейдет, по крайности, ни хлопот, ни забот мне нету... Печку? Ну, печку глиняну собьют таку же, как и теперича у нас... греет вить. Кирпишну-то дорого... выбелю ее известкой, то ли дело... ей и веку не будет!.. Дворишко из старья как-нибудь соберем... Крышу соломой крыть не стоит... рассчету мало, да опять это нонче не в моде... щепкой покроем... Схожу к мельнику, выпрошу у него в долг... в ногах буду валяться, а уж не отстану... надо как-нибудь исхитриться... сам не сделаешь, никто тебе не сделает... под лежачий-то камень вода не бежит...

Незаметно, занятая своими думами, она миновала лес и вышла в поле. Все поле было вспахано и лежало черное, глубоко изрытое плугом, с отвороченными застывшими пластами земли, холодное и мертвое...

Узенькая дорожка, виляя туда и сюда, пересекала это поле и шла к селу, видневшемуся вдали на пригорке. Белая

церковь ясно и отчетливо, как какой-нибудь огромный комок снега, виднелась издали, а золоченый крест, в который ударяло низко стоявшее над горизонтом солнце, горел, как яркая звездочка.

Миновав поле, пройдя селом, мимо трактира и только что отпертой казенки, — на пороге ее стоял и глядел на восток толстый, лысый, похожий на Наполеона третьего, сиделец, — Агафья свернула на шоссейную, узкую, мало езженную дорогу и пошла по тропочке, проложенной рядом с дорогой к лесу...

На дороге было пусто... Большой, черный, блестящий, точно покрытый лаком ворон, каркая, перелетал с одной кучи щебня на другую, да синицы-московки, маленькие, круглые, точно шарики с белыми брюшками, тихонько посвистывая, копошились в лошадином навозе и, спугиваемые Агафьей, небольшими стайками, отлетали в сторону.

Агафья вошла в лес... Здесь было еще тише. По обеим сторонам дороги стоял частый, сплошной стеной, мелкий, тонкий осинник — «чапыга»... Листья с этого осинника уже облетели и только кое-где на макушках, более крупных и высоких, трепетали на солнце, как золотые...

С правой стороны лес поднимался несколько в гору, лучи низкого и далекого солнца, прорезывая чащу, играли на дороге «зайчиками».

Высокая, побуревшая, совершенно высохшая метла «некось» росла в этом лесу, делая его «чапыгу» еще более глухой и путанно-частой...

Пройдя с полверсты этим лесом, Агафья увидала, что ей навстречу кто-то идет.

— Идет кто-то, — сказала она сама себе, — мужик ли, баба ли — не разберешь. Кажись, баба?

Идущий навстречу и Агафья, приближаясь друг к другу, быстро сокращали расстояние между собой, и теперь Агафья ясно разглядела, что это не баба, а мужик.

Скоро они сошлись и Агафья увидала высокого, молодого, рыжебородого нищего, бродягу.

За спиной у него болтался пустой мешок, в руках была палка. Одет он был в длинный монастырский подрясник... ноги обуты в опорки, обмотаны по икрам тряпками... тряпки были подвязаны веревками. На голове у него одета немного на бок, на левое ухо, круглая, к верху востренькая, шапченка, придававшая его лицу отчаянно-наглый вид.

Он шел и забавлялся тем, что сшибал толстым, немного загнутым клюшкой концом палки, замерзшее конское кало с дороги в канаву.

Поравнявшись с Агафьей, он скосил глаза в ее сторону, улыбнулся, скаля белые, большие, точно у лошади, зубы, и сказал хриплым басом:

— Наше вам-с!

— Здравствуй, батюшка! — в свою очередь, низко поклонившись, ответила Агафья и пошла было дальше.

— Далеча ли до деревни? — спросил бродяга.

— Нет... не далеча, — ответила Агафья, приостановившись, — с версту...

— А ты куда идешь? — спросил опять бродяга, глядя на нее исподлобья и помахивая палкой.

— В город, — ответила Агафья. Она взглянула на него и, увидев его лицо, большой рот с толстыми губами, зубы, вздрогнула и отвернулась со страхом.

— Зачем? — спросил бродяга.

Агафья не ответила и пошла дальше. Бродяга посмотрел ей в след и вдруг, бросив на землю палку, с перекосившимся страшным лицом, на цыпочках, побежал за нею.

IV.

Агафья шла, не оглядываясь... Он потихоньку догнал ее и схватил сильными длинными руками сзади в охапку, так крепко, что она не могла двинуть ни правой, ни левой рукой.

Она с ужасом полуобернула свое лицо вправо через плечо и увидала на самом близком расстоянии его большие,

с кровяными белками, страшные глаза, ощеренные зубы и закричала:

— Батюшки!... Пусти... батюшки!...

— Молчи!... молчи... молчи, сволочь! — задыхаясь, прерывающимся голосом, хрипел он, — убью... молчи!...

— А-а-а! — завыла она и, наклонившись, хотела было укусить его за руку.

— Аа! — крикнул он... и вдруг легко и свободно, точно щепку, приподнял ее и как-то боком, тяжело дыша, поволок с дороги, через канаву, в заросшую травой «чапыгу»...

Агафья сначала билась у него в руках, упиралась ногами, но потом сразу ослабла, опустилась, и он волок ее, как какой-нибудь грузный, сырой, только что срубленный обрубок дерева, торопясь, ломая сучья, тяжело дыша, страшный, как дикий зверь, подальше от дороги в чащу.

Оттащив шагов за сорок, он остановился на маленькой, еще более густо, чем в чапыге, заросшей метлой, прогалинке и бросил Агафью, сильно и больно толкнув ее в грудь, на землю, в эту метлу.

Она упала и почувствовала, что внутри у нее все точно сразу как-то похолодело и замерло.

Хотела крикнуть, но у нее пропал голос. Она только тихо простонала и обезумевшими, налитыми ужасом глазами, уставилась на его лицо.

И, вдруг, какая-то отчаянная безумная смелость охватила ее и, пронзительно завизжав, она вцепилась ему зубами в щеку.

— О-о-о! — заревел онъ, — о-о-о, врешь!

— Пу-у-пусти! — Христосик! батюшка... пусти! — молила она, теряя сознание.

— А-а-а!... Нет... нет, врешь, стерва!

. . . .

Когда она опамятовалась, он сидел рядом с ней, протянув ноги, курил и с боку, кося глаза, поглядывал на нее...

Она застонала.

— Наплевать! — вслух рассуждал он, посмеиваясь, — эка штука... Чего там... Это у тебя в мешечке-то что такое — нука-сь, покажь?... Да ну, самдели, какого ты черта арапа-то строишь! — крикнул он, — барышня какая... махонькая, несмышленочек... я тебе, вот наставлю банок!... У меня, брат, за этим дело не станет... Что я тебя, зарезал, что ли? Дура, право ну! Чего ты?... Ты мужу-то не сказывай... Надоел, чай...

Он засмеялся и, протянув руку, сдернул привязанный у ней сбоку мешочек с грибами.

— Грибки... гм! Это ты кому же, а? ловко! Нам годится... мы всем берем... отдай, а то потеряешь... они нонче в цене... спасибо! Денег нет ли, а? Чего молчишь-то? Дура ты! Деревня! Другая бы рада была... А ты вот что, ты говори, слава Богу, целу оставил, не придушил... Возьму вот, давну раз и пар вон... Так-то вот, как тебя звать не знаю, помалкивай!... Полеживай тут, пока я уйду...

Он поднялся, поправился, взял ее мешочек с грибами и сказал:

— Прощай!.. Лежи, смотри, смирно, не ори... уйду, вот тогда хочь всю глотку раздери — наплевать! Ах ты, сволочь, дура, — добавил он и, ударив ее ногой в бок, полез, ломая сучья, прямо в чапыгу, в другую, совершенно противоположную от дороги сторону...

V.

Оставшись одна, Агафья приподнялась и села. Она сидела и слушала, как мало-по-малу затихал треск кустов в той стороне, куда шел он... Скоро все стало тихо... Сквозь чащу пробивались косые лучи солнца, играя причудливыми пятнами и полосами там и сям...

Было свежо и Агафья чувствовала, как все ее измятое и какое-то чужое, не ее тело, вздрагивает резкой и сильной дрожью, а зубы, несмотря на то, что она стискивала челюсти, стучат, помимо ее воли, болезненно и страшно.

Она сидела долго, глядя широко открытыми, напряженными глазами прямо против себя, на то место, куда скрылся он, боясь встать и думая, что вот-вот оттуда, из этих кустов, появится снова он и с ним вместе придет ее конец, смерть.

Прошло еще немного времени, и она услыхала где-то далеко, по правую от себя руку, со стороны дороги, треск колес по камню.

Оживилась и осторожно, согнувшись, затаив дыхание, косясь в ту сторону, где скрылся он, приподнялась и, еще ниже согнувшись, похожая в своем испуге на какого-то загнанного зверя, побежала сквозь кусты, ломая их, в ту сторону, где была дорога и откуда доносился стук колес, не чувствуя, как сучья хлещут ее по лицу.

Выбежав на дорогу, она присела, согнувшись, в канаву, и увидала, что с той стороны, откуда она давеча шла, кто-то едет.

— Не наши-ли кто? — подумала она и еще больше притаилась и припала к земле, как беляк заяц по осени, увидя охотника, боясь пошевельнуться...

Телега под'ехала и Агафья увидала, что в ней сидит их деревенская баба Марья Утенкова.

— Слава тебе Господи, не увидала, — прошептала она, прижимаясь к земле. — Срамота-то кака.. о-о-о, головушка моя!... как я мужу-то... мужу-то, как скажу!?

Телега проехала и скрылась заповертком.

Агафья вылезла из канавы на дорогу, отряхнулась, поправила на голове платок и растрепанные волосы, постояла, посмотрела на обе стороны и вдруг как-то отчаянно безнадежно, всплеснув руками, горько заплакала и торопливо пошла тѣм же самым следом, где шла давеча, назад, домой, в деревню.

VI.

Пройдя к деревне, она свернула с дороги в сторону и овражком, позади овинов и риг, прошла никем незамеченная прямо к своей усадьбе. На усадьбе стоял старый,

покачнувшийся на бок, с худыми воротами сарай и виднелась яма, где был когда-то овин, заросшая теперь бурьяном и крапивой. От сарая шла тропинка, по которой ходили за сеном, прямо к избе, к задней калитке, сделанной со двора. Калитка эта была открыта и на дворе было пусто. Скотину выгнали в поле гулять. Агафья шмыгнула, нагнувшись, в эту калитку, прошла по навозу двором на мост, остановилась здесь, послушала и, перекрестившись, дернула за скобку, отворила дверь и вошла в избу.

В избе было тихо и полутемно. Левон сидел спиной к двери, насупротив окна, на низеньком толстом обрубке и подшивал стельку к старому валеному сапогу. Услыхав скрип двери, он обернулся и, увидя жену, с удивлением воскликнул:

— Ну-у-у! никак ты? что больно скоро слетала... аль забыла что?

Агафья молчала. Он хотел было сказать что-то еще, но посмотрел ей в лицо, соскочил вдруг со своего обрубка, бросил валенок на пол и крикнул:

— Ты что, а? что ты?

Вместо ответа Агафья повалилась на скамью ничком и заплакала жалобно и горько. Все ее тело задергалось и задрожало резкой и сильной дрожью, а в горле что-то клокотало, булькало и слышались какие-то странные, жалобные, непонятные звуки.

Левон оторопел. Его ударило в сердце. Он понял, что случилось что-то страшное, непоправимое, злое, и стоял весь бледный, не зная, что делать, с ужасом глядя на ее судорожно, точно у недорезанной курицы, вздрагивающее тело.

— Что это ты, а? Агафья, а? — проговорил он, наконец, дотронувшись до ее плеча.

Агафья затряслась еще шибче и заговорила что-то такое, чего Левон сперва не мог понять, но потом, слушая, мало-помалу, стал различать странные бессвязные слова.

— Батюшка, Лявонушка, — задыхаясь от рыданий и каким-то странным, точно чужим, не ее, незнакомым ему голо-

сом, говорила она, — поганая я.. опоганил, охальник... О-о-о, головушка!.. Батюшки, батюшки, родимые!.. Лявонушка...

Она вдруг сорвалась со скамейки на пол, упала перед мужем на коленки, обхватила его ноги руками и заговорила прерывающимся голосом полные душевной скорби и горькой обиды слова. По ее бледному, сразу как-то постаревшему и осунувшемуся лицу, бежали частые слезы... Прерывающийся, необыкновенно жалкий, всхлипывающий голос говорил об обиде, о позоре и плакал и умолял...

Левон молча слушал ее и чувствовал, как какой-то, невыразимый словами, холодный ужас и вместе злость охватывают его душу. В нем точно что-то оборвалось и ему нисколько не было жалко жену, а напротив, она ему сразу сделалась чужой, ненужной, постылой...

Он слушал ее мольбы, глядел, как она билась у его ног, о чем-то прося его, и у него на душе не было ничего: ни обиды, ни жалости.

Он только чувствовал одно: как злоба, точно какая-то змея, обвивает его всего холодными страшными кольцами и что он не хочет верить словам жены, хотя и знает, что она говорит правду.

— Врешь ты, паскуда! — закричал он вдруг и сам не узнал своего голоса, — врешь... А сама, чай, рада!..

— Лявонушка! — завопила баба, — что ты... акстись! Господь с тобой... рада!.. Да я, кажись, задушила бы его!.. покарает его Господь за меня!.. Ра-а-да!..

— Покарает... как же!.. Неужели ты не могла отбиться-то... малютка какая! Ни в жись я не поверю... врешь ты, сволочь, по охоте ты...

— Господи Суси... по охоте! Да кабы я захотела-то гулять-то от тебя, неужели бы я тебе сказала?..

— Врешь, — неистово закричал Левон, — врешь... ты сама... сама ты... охотница... Уйди! — завопил он, обезумев от охватившей его злобы, — собака ты! На что ты мне теперича нужна?.. Жить я с тобой теперича, что ли, буду, а? Ах ты, сволочь ты эдакая, трепло!..

И с перекосившимся страшным от злости лицом, он ударил ее ногой в грудь, так что она отлетела от него и упала навзничь, больно и крепко стукнувшись затылком о пол...

— Лявонушка! — застонала она, поднимаясь, и поползла к нему по полу, — убей... убей ты меня сразу... О-о-о, заступница, матушка!..

— На кой ты мне нужна, — засмеялся он, — убей!.. За тебя, за дьявола, отвечать придется... Погань... тьфу! — он плюнул ей в лицо, — падаль... Гаже ты для меня теперича кошки ободранной!..

— Да нешто я виновата?.. Господи!..

— Гм... Кто же... Пушкин, что ли?.. Знаем мы вас достаточно!..

— Грех тебе... накажет тебя Господь... невидимо накажет за меня... Чиста я перед тобой...

— Ла-а-дно, чиста! Может, почем я знаю, и Спирька-то не мой... Может, с каким с пастухом пригуляла... Почему это такоича у тебя четвертый год пошел детей нету, а?.. Почему такоича?..

— А уж это ты у Господа спроси, а не у меня... бесстыдник ты эдакий... обидчик!

— Ла-а-дно, у Господа... Может, у кого другого спросить надыть, а не у Господа. — Ишь тебе, — продолжал он, все больше и больше разжигая себя своими же злобными словами, — загорелось сегодня иттить... А я-то, дурак, думаю, что она охотится больно шибко... а она вот те... Ло-о-вко... чисто девки стряпали!.. Обидел ее, ишь, какой-то... износильничал... девочка кака!.. Да ты сама, коли захошь, пятерых сшибешь... обидеть тебя... Чорт тебя обидит!

Агафья села на скамью и заплакала тихо и жалобно, закрыв лицо руками.

Этот ее жалобный плач еще больше раздражал мужа. От него он пришел в ярость.

— Зачем ты мне про это сказала, а? Зачем? Насмешку

надо мной сделать, а? Дескать: наплевать, дескать: рвись его сердце... Не прощу я тебе этого во веки веков!.. Сто лет проживу — до тебя не дотронусь! Ты, смотри, еще кому не скажи сдуру-то... убью!..

— Я думала, — говорила, всхлипывая, Агафья, — скажу, мол... пожалеет, мол... муж вить, не чужой... Лягко ли мне, Владычица! А он, вон как... Я ли тебя не жалела... Я ли за тобой не ходила... выпимши когда придешь, уложу... уложу... спи... Портянки вон новые сделала... от цельного куска отрезала, не пожалела... а он... Владычица!..

Эти ее слова и плач довели его злобу до последней степени. Он начал кричать, ругаясь скверными, злобными, бессмысленными словами, которые, как кипяток, обливали и жгли его самого и потом, совсем ошалев, страшный и бледный, размахнулся и, скрипнув зубами, ударил ее кулаком по лицу.

Она ахнула и упала на бок, закрывая лицо руками. Он ударил ее еще.

Она вскочила и закричала вдруг, пронзительно, дико, жалостливо и страшно.

— Бей!.. Бей, бей!!! Бей, разбойник... бей! На, бей... сюды бей... до смерти... на, на, на!..

VII.

Дух злобы захватил их своими цепкими щупальцами и все больше овладевал ими. Оба они обезумели. Он бил ее, рыча одно и тоже: «а-а, ты орать! а-а-а, ты орать!», и был страшен, а она вся белая, как мел, с осунувшимся лицом, по которому текла кровь, с вытаращенными, точно как от страшного смертельного испуга, глазами, с пеной по углам большого с посиневшими, почти черными, губами, рта была страшнее его.

Она не защищалась и не сторонилась от ударов. Она с диким отчаянием и злостью лезла на них, крича.

— Бей!.. Бей, бей!.. До смерти бей, злодей!..

Несколько раз он сшибал ее с ног. Она падала, стукаясь обо что попало, и снова, вытянув перед собой руки, лезла к нему и кричала опять-таки все одно и тоже: бей, бей, бей!..

Этот ее крик «бей, бей» подбодрял его, точно уставшую лошадь удары кнутом. Он бил, нанося ей беспощадные, ожесточенные удары, рыча.

— Ты орать! Ты орать! Врешь... врешь, сволочь упрямая!..

Наконец, она обессилела и свалилась на пол ничком, хрипя и корчась, точно в падучей. Он постоял над ней, тяжело дыша, дожидаясь, не закричит ли, и видя, что она не встает, сказал, скаля зубы:

— Что, сволочь, дождалась... будешь, а?..

— Бу-бу-буду! — прохрипела она, не поднимая головы.

Он скрипнул зубами и ударил ее ногой.

— Бе-е-е-ей! — как овца проблеяла она.

Он дико и подло выругался, плюнул на нее и, ударив еще раз, вышел из избы, хлопнув за собой изо всей силы дверью.

Сошел с моста и остановился около круглой, сделанной из березовых прутьев, посреди двора, кормушки для скотины, схватившись левой рукой за край ее, и весь затрясся частой и мелкой дрожью... Так простоял он минут пять, тяжело дыша и слушал, как в груди колотится и стукает сердце.

Злоба мало по малу стихла, острая тяжелая скорбь внезапно охватила его. Он почувствовал вдруг, что в его сердце точно кто-то тычет шилом. Оно мучительно заныло и забилось еще шибче.

Ему стало жалко жену, а пуще жалко самого себя, и он хотел было возвратиться назад в избу, но вдруг, точно кто-то схватил его сзади и шепнул про то...

Он застонал, как от физической боли, и представил себе, ясно, во всех подробностях, как его жену обнимал и мял какой-то чужой, здоровый мужик.

Эта страшная, мучительная для него картина, доставляла ему нестерпимую муку. Он почувствовал опять, что ему в сердце кто-то тычет острым шилом, а перед глазами стоит и не отходит картина насилия во всей своей грубой правде.

— Вот, небось, натешился-то, — думал он, облизывая пересохшие губы, — вот чай... а она-то, небось, не давалась сперва для прилику, а потом, чай, ослабла, побелела, небось... глаза закрыла, руки раскинула... О-о-о!.. Целовал, небось, ее в губы... «милая, хорошая, такая, сякая, ничего, мол, не бойся»... А она, сука, и рада!..

Дикая, звериная злость опять сразу охватила его. Он вдруг, как-то неожиданно для самого себя, заплакал и начал ломать кормушку...

— А, так ты вот как, — рычал он, с плачем выдергивая из навоза колья и швыряя их, — на вот тебе!.. На кой мне черт все нужно! Покажу я тебе... покажу я тебе, сволочи!..

— Убью! — закричал он вдруг на весь двор, обернувшись лицом к двери в избу. — Зарежу! Со свету сживу!..

Он схватил стоявшие около моста вилы и начал тыкать ими в стену, крича:

— Убью!.. Убью, сволочь!.. у-у-у, вот тебе!.. Вот тебе!..

Он бесновался, не видя, что в дверях из калитки стоит и смотрит на него сынишка Спирька, прибежавший домой с улицы поесть. Перепугавшись, он стоял и глядел, как отец, ругаясь и плача, тычет вилами в стену.

— Тятька, — наконец, негромко крикнул он, — а, тятьк!..

Отец не слыхал.

— Тятьк! — закричал он шибче и вдруг заплакал. — Тятя... что ты?..

На этот раз отец услыхал, обернулся, увидал его и выронил из рук вилы.

Он сразу опомнился, взглянул на Спирьку, и нестерпимая, какая-то мучительная скорбь и жалость к самому себе, охватила его душу. Он обтер рукавом глаза, нагнулся, делая вид, что сморкается и, обернувшись потом к сынишке, сказал:

— Мать пришла... дома вон она... беги к ней...

— О-о-о! — взаправду? — радостно крикнул Спирька, вбегая на двор и сразу позабыв свой испуг. — Гостинцев принесла?.. Принесла, тять, а?..

— Принесла, — сказал отец, кривя усмешкой губы. — Принесла, — повторил он, — обоим нам принесла... Спасибо!.. Ну, беги!..

— А ты, тятьк, куды?.. Без картуза-то холодно...

Отец не ответил и молча, глядя в землю, прошел мимо него по двору к калитке и, наклонясь, вышел, плотно прихлопнув за собою небольшую, кособокую дверку.

Спирька побежал в избу.

VIII.

— Мамк, — закричал он с порога, отворив дверь и со свету плохо видя, — чего принесла мне, кажи?..

Молчание было ему ответом. Агафья, как упала, давеча ничком посреди избы, так лежала и теперь, не меняя позы.

На полу, около ее лица, виднелись пятна крови... растрепанные черные волосы покрывали ее голову, шею и плечи, точно большая, шершавая папаха.

Она потихоньку всхлипывала и икала, точно наплакавшийся и начинающий засыпать ребенок.

— Мамк! — крикнул снова Спирька, увидя ее на полу. — Чтой-то ты где лягла-то, а? вставай!..

Агафья уперлась руками в пол, приподнялась, схватилась рукой за край скамейки, с трудом поднялась с полу и села на скамью, облокотившись на стол правой рукой, положив на нее голову.

Все лицо у нее было избито и залито кровью. Под глазами появились огромные, фиолетового цвета, синяки и один

из глаз — левый — почти совсем закрылся, виднелась только узенькая, небольшая, окруженная фиолетовым фоном, щелочка, придававшая всему лицу какое-то необыкновенно страшное выражение. Спирька, увидя это лицо, не узнал матери, испугался и заплакал.

— Что-о-о, сынок, а? хо-о-роша? — скривив в горькую усмешку губы, сказала Агафья, глядя на него. — Вот как меня папашенька-то твой отделал, а?.. хороша? Подика-сь сюда ко мне.

Спирька стоял, глядел на нее и не шел. Ему было страшно глядеть на ее лицо и, в особенности, на эту щелку, глядящую на него вместо глаза. Он заплакал еще сильнее и попятился к двери.

Агафья тоже заплакала, закашлялась, схватившись рукой за грудь.

— О, Господи Суси, — простонала она, харкнув кровью на пол, — всяе избил... почки отшиб... Что мне теперича делать-то... Владычица, заступница... Спирюшка... дитятко ты мое... подь ты ко мне, родимый ты мой... подь ты ко мне, сладкой ты мой... пожалей хучь ты меня, несчастную... несчастная я, несчастная! Со всех-то с четырех сторон на меня ветер дует... Пожалей ты меня, сынок ты мой ненаглядный!.. Солнышко ты мое ясное... о-о-о! о-о-о, батюшки!..

— Мамка, не плачь! Мамынька, золотая ты моя, не плачь, — с воплем закричал, бросаясь к ней, Спирька, — мамынька, я с тобой... Мамынька, не плачь! Дай я тебя поцалую в глазок... Не плачь, мамынька! Не плачь, родимая!..

Она привлекла его к себе левой рукой и наклонилась над его покрытой мягкими, точно чесанный лен, волосами головкой, горько заплакала, то и дело с какой-то необыкновенной страстностью целуя его в головку.

Он обхватил ее обеими руками по талии и, тоже плача, жался к ней...

— Спирюшка... дитятко... родной ты мой... сол-

нышко, — шептала она и чувствовала, как какое-то огромное, мучительно-сладкое, неиспытанное ею никогда чувство, охватило все ее существо. — Люблю-то я тебя как, дитятко ты мое!.. Один ты у меня теперича остался... Постыла-то я всем стала!.. Пожалей ты меня!

— Мамка, не плачь!.. Золотая ты моя, не плачь!..— прижимаясь к ней, не переставая, твердил Спирька...

IX.

А Левон в это время, «точно краденный», задами по усадьбам, мимо овинов, пробирался на край деревни в шинок, где торговала с год тому назад овдовевшая баба Юдиха...

Юдиха, когда он, осторожно отворив дверь, переступил порог, была дома, занимаясь мытьем пола. Высоко подвязав юбку, с голыми толстыми ногами, перегнувшись, терла она пол, ожесточенно, вся мокрая от поту, грязной мочалкой, то и дело крича на баловавших ребятишек, загнанных, «чтобы не вертелись под ногами», на печку.

Увидя вошедшего «гостя», Юдиха удивилась и стояла перед ним с мочалкой в руках, красная, с грязными подтеками по лицу, удивленно большими красивыми глазами глядя на него.

— Не узнала, что ли? — сказал Левон, осторожно обходя лужу и пробираясь туда, где уже было вымыто и не мокро. — Здорово живешь? Полы, никак, моешь?..

— Ты как это зашел? — спросила она, не отвечая на его вопрос. — Вот чудеса-то, пра, ей Богу...

Левон усмехнулся.

— Есь? — спросил он, помолчав.

— Чего?

— Ну, чего... сама знаешь...

— Что это ты вздумал?.. чудеса! Николи не ходил... А жана-то дома?..

— А тебе что?.. давай половинку?

— Нету... вся изошла...

— Вре-е-ошь?!.

— Ну, вот, — усмехнулась Юдиха. — Права, нету...

— Давай, давай!

— А деньги-то?

— Опосля отдам.

— Ишь ты, какой ловкой!.. без денег не дам.

— Да давай, дура, не пропадут... отдам!.. Деньгами отдам, а то, коли хошь, ужотка али завтри по утру порани, овса насыплю, то мукой отдам... муки пуд...

— Врешь... не отдашь?.. А жана-то?.. Она узнает — с'ест!

— Чего ты мне жаной-то тычешь... Чай, я хозяин... давай!..

— Боюсь я... не отдашь... у меня и так распущено — конца краю нет. Побожись на икону вон... перекрестись...

— Ну, вот, глазанки мои лопни, отдам, — сказал Левон, перекрестившись в угол, где висели иконы. — Не сойти мне с эстого места, коли не отдам...

— Мотри, мужик, — сказала Юдиха, — грех тебе будет, коли обманешь вдову... Господь с тебя взыщет... потеряешь впятеро.

Она обтерла руки о бедра и добавила.

— Посиди чуток... сичас я...

Она вышла куда-то из избы и вскоре возвратилась, неся под мышкой бутылку.

— Нету половинок-то, — сказала она, — все изошли... вот бутылка... хошь бери всяе, а раскупоривать не стану.

— Давай, — сказал Левон, — все едино... Открой-ка-сь!

— А сам-то... аль непривычен?.. Вон шило торчит в стонке... вон за тобой-то! Подакась его...

Левон подал шило. Она вынула им пробку и, поставив бутылку на стол, сказала, улыбаясь:

— Кушай на доброе здоровье... Закусить хоть луковичку дам... Лук у меня сла-а-а-дкай, присла-а-дкай... аки сахар, ей Богу.

Левон, не слушая ее, налил в чайную чашку водки, перекрестился и выпил.

— У-у-у! — произнес он, сплевывая на пол. — Опоила!

— А ты на, чудак, закуси скорей!..

Он закусил и немного погодя выпил еще.

Пил он вообще мало и, так сказать, только в исключительных случаях. В простольные праздники, на свадьбах, летом мирское, когда кто «попотчает», когда «на тельмовщинку». На свои пил мало. Разве уж, когда «зимой, перезябнув и с устатку», выпивал сотку, да и «тае» не всю, а разделял ее на два, как он выражался, «заряда»...

Теперь, выпив почти без передышки две чашки, он както сразу опьянел и раскис. Водка подействовала на него не так, как он предполагал, идя к Юдихе, ободряюще и весело, но совсем напротив, она принесла ему какую-то нестерпимую душевную муку и вместе злость. Ему хотелось и плакать, и ругаться, и бить всех и все, что ни попадет под руку.

Пьяное воображение работало с удвоенной силой, рисуя перед глазами картину насилия над женой со всеми подробностями, а в уши точно кто-то нашептывал те слова, которые, по его мнению, говорил жене, лаская, обнимая и целуя ее, т о т.

От этой воображаемой картины и слов у него внутри пробегало что-то холодное, острое, мучительное и подступало к горлу.

— Врешь, — говорил он, хлопая и стуча кулаком по столу, — врешь, паскудница!.. Сама ты... по согласью... Не поверю, чтобы занасилку... ни в жись не поверю... нешто мыслимо... Ты, нашла дурака... он, мол, дурак, поверит, мол...

— Да это ты про кого-же, — спросила Юдиха, покончив с мытьем пола и присаживаясь на скамью к столу против него. — Слушаю я, не пойму, про что это ты онучу-то жуешь?..

— А тебе что... ты молчи... ты меня не серди... все вы, сволочи, потаскушки. Ты как об себе понимаешь, а?

вдова ты, а?.. Небось, думаешь, кто я, а?.. живу по хорошему-а? Честная ты, честная!

— А тебе какое дело до меня... Ты что надо мной, начальник какой приставлен, аль муж? Может, и не один есь... тебе како дело... боюсь я, что ли... я хозяйка... Вот она кружилочка-то, не тушилочка, собственная... кого полюблю, тот и мой...

— Ах, — обтирая рукавом рубахи глаза, с улыбкой произнес Левон. — Ах вы, оглашенные!.. Полюби теперь меня... А?

Юдиха засмеялась.

— А жана-то? — сказала она. — Она те убьет, а мне глаза выцарапает... За что тебя любить-то?.. денег, что-ли много, аль красив больно?.. Много вас таких-то... А ты вот что: пей скореича, да ступай с Богом... время уж... гляди, вечер... ступай к жане... ишь ты раскис, как мухомор от дождя... смотреть-то на тебя тошно... Оботри сопли-то...

— Ты мне про жану не говори... не вспоминай! — закричал он вдруг, ударяя кулаком по столу. — Не вспоминай!..

— О, как страшно!.. испугал... Тише, военный... Что така твоя жана за барыня...

— Убью! — заорал Левон и сшиб со стола кулаком бутылку на пол. — За-а-душу!..

— Ах ты, пес слюнявый! — вскочив с места, в свою очередь забизжала Юдиха. — Ты чего-ж это посуду-то бьешь, а? Выжрал дарма — скандальничать, приставать... аль я какая, а? Да я тебя засужу, чорта!.. Отдавай деньги, лошак!

— Каки деньги? за что? Вот чего не хошь-ли! Сво-о-лочи! Кустовки проклятые... зауголки!

Он поднялся и, шатаясь из стороны в сторону, точно его кто толкал то в один бок, то в другой, пошел к двери.

— Ах ты, дьявол косматый!.. Чертушка-а! — вопила Юдиха и ударила его обеими руками изо всей силы сзади в спину.

Он ткнулся вперед, стукнулся головой о дверь, отшиб ее и вылетел на мост. . .

— Вот тебе, черту, за это! — закричала Юдиха, ткнув его ногой в бок. . . — Всякой придет — лается! . . Иди, пока цел, а то, Истинный Господь, изворочаю поленом до смерти и в ответе не буду. . . Косматый чорт! Я вить тебе не жана далась. . .

Левон поднялся и, не обращая на нее никакого внимания, бормоча что-то под нос, шатаясь вышел на улицу.

X.

Солнце село. . . Смеркалось. . .

Из под горы в деревню гнали скотину. . . Голодные овцы бежали впереди, останавливаясь, таращa удивленные глаза, и блеяли жалобными, точно плачущие дети, голосами. Бабы закликали их по дворам: «барашк, барашк, барашк!», и громко и отчетливо раздавались их голоса в чистом и чутком воздухе.

Левон шел среди улицы в гору, кидаясь из стороны в сторону, точно играл в жмурки, стараясь поймать кого-то, бормотал про себя, останавливался, приплясывал, пел:

„Ах, Фроська моя,
Ты не брось-ка меня!
Ты не брось-не покинь,
Я останусь один“ . . .

привлекая на себя общее внимание бывших на улице баб и ребятишек.

Придя домой, он молча, с трудом залез на печку, лег там, уткнувшись головой в задний угол к трубе, и сейчас же уснул.

Видя его в таком состоянии, Агафья ничего не сказала. У нее точно что-то оборвалось и похолодело внутри. Она тихо и горько заплакала, сознавая и чувствуя, что на нее и на мужа надвинулось, как черная туча, огромное, непоправимое, злое горе. . .

Плача, с опухшим избитым лицом, постаревшая и осунувшаяся, начала она «убирать» скотину. Привычное дело, которое она «обвертывала круг пальца», не спорилось теперь и валилось из рук.

Все ее хозяйство: корова, лошадь, теленок, овцы, куры, все эти плошки, ложки, лоханки, чугуны, ухватья, все как-то сразу отошло от нее, сделалось чужое, ненужное. . .

— Господи, батюшка, Господи, батюшка! — с каким-то ужасом шептала она, толкаясь, как круговая овца, по двору. — Что ж теперича будет-то? . . Что я наделала-то. . . Что я, сука наделала-то? Не нужна я теперича ему . . . попротивила я ему . . . Опоганил меня разбойник . . . разлучил с мужем . . . разбил закон, мошенник. . . О, Господи, батюшка! Не верит он мне . . . думается ему. . . И зачем я, дура, сказала . . . молчать бы мне. . . Как жить-то теперича, Господи! Руки на себя наложить . . . в удавку лезть. . . А мальчика-то? А Спирька-то на кого останется? . . Царица небесная, матушка, вразуми, услыши! . . Заступница, матушка! . .

А Спирька, тоже с опухшим от слез лицом, ходил за ней «по пятам», не отставая, повторяя сквозь слезы жалобным голосом:

— Мамка, об чем ты? Родная, не плачь! Маменька, не плачь!

Глядя на него, Агафье делалось еще тошнее и мучительнее.

Управясь кое-как по хозяйству, подоив лягавшуюся, худую, доившуюся только тремя сиськами корову, попоив теленка, она «вздула» огонь и начала стелить на полу постель для Спирьки. Ей хотелось уложить его пораньше. Она боялась, что храпевший на печке муж проснется, слезет и злющий с похмелья начнет лаяться и тогда уже мальчишку не уложишь.

— Садись, сынок, — сказала она, сделав постель — поужинай . . . похлебай щей да и ложись. . .

— А ты-то? — спросил Спирька, — и ты ложись...

— И я лягу . . . уберусь вот . . . спасуду вымою . . . лягу.

Она достала из печи горшок, налила в чашку щей, поставила на стол, достала ложки, отрезала хлеба и сказала:

— Садись, похлебай. . .

Они сели за стол и стали «хлебать» серые, пустые, противно пахнувшие и уже успевшие остыть щи. . .

Агафья ела мало. Она делала только вид, что ест, а на самом деле ей «кусок не шел в глотку». Она слушала храп мужа и сердце у нее замирало от мысли, что будет ночью, когда он проснется... Спирька, глядя на мать, тоже ел плохо.

— Не хотца! — сказал он, хлебнув несколько ложек.

— А молочка дать?

— Не хотца!

— Ну, как знаешь... разувайся... молись Богу... ложись. . .

— А ты со мной ляжешь? И ты ложись.

— Лягу, лягу . . . молись. . .

Спирька разулся и, встав перед иконами, начал молиться. Агафья стала позади его на коленки.

— Ну, батюшка, — сказала она, сдерживая подступившие к горлу слезы, — помолись, сынок. . . Ох, Царица небесная, заступница! . .

— «Во имя Отца и Сына и святого Духа, аминь», зачастил Спирька и продолжал без передышки: — «Богородица, дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в жанах и благословен плод чрева твоего. . .»

Он замолчал, позабыв, как дальше. . .

— «Яко Спаса ро...» — шепнула Агафья.

— «Яко Спаса родила еси душ наших!» — докончил Спирька и, безостановочно, торопясь, в один тон, продолжал: — Господи, помилуй, тятьку, мамку, хресного, хресную, всех сродников, всех православных хрясьян. Аминь.

— Поклонись, сынок, в землю. Ну, Христос с тобой . . . ложись . . . спи . . .

Спирька лег и прикрылся дерюжиной...

— Иди, мамк, ко мне, — сказал он. — Я без тебя не лягу.

— Сейчас я. . . О, Господи! . . Уберусь вот только. . .

Она смахнула со стола, убрала чашку, ложки, хлеб и, притушив в лампочке огонь, так, как была, не раздеваясь, легла рядом с ним, обняв его правой рукой.

— Спи, родной, — сказала она, — не думай. . . Андел Господний к тебе ночью придет. . . Цветов тебе принесет . . . маку.

— Мне маку не надоть! . .

— А чего тебе?

— Мне гостинцев . . . пряников. . . Ты мне летось раз принесла . . . писаных-то . . . скусные расскусные! . .

— Принесет и пряников... спи!..

— Мамк?

— Что?

— Тятько-то как храпит на печке.

— Спи, сынок, спи... выпимши он... Завтра поутру, Бог даст, в лес за сучьями поедешь с ним... спи... закрой глазки-то... завернись...

Спирька обнял ее, прижался к ней и сейчас же заснул...

XI.

Агафья сняла с него свою руку, поцеловала его, чувствуя к нему необыкновенную жалость и чувствуя, как от этой мучительно любовной жалости подступают к горлу слезы и душат ее, поднялась с полу, подошла к столу, прибавила в лампочке огня и остановилась тут около стола, глядя испуганно на огонь... Постояв немного, она вдруг молча, но с выражением ужаса и отчаяния, всплеснула руками и закачала головой вправо и влево, вправо и влево, как маятник у больших старинных часов, точно выговаривающих редко и отчетливо твердо: ах, ах! ах, ах!

— Рупь семьдесят пять... рупь! — раздался глухой и хриплый голос с печи забредившего во сне мужа, — сем... семм... — повторил он захлебываясь и, не выговорив «седьдесят», замолчал и захрапел еще громче...

— Господи, помилуй! — метнув на печку глазами, в которых как будто бы еще больше прибавилось выражения ужаса, — прошептала Агафья и, потихоньку встав на цыпочки, приподнялась, протянула руку к лампочке, притушила ее совсем и, перекрестившись в потемках на то место, где висели образа, трясясь вся нервной, частой дрожью, легла на пол рядом со Спирькой...

Она легла навзничь и лежала, боясь пошевелиться, сдерживая дыхание, охваченная каким-то мучительным страхом, напряженно прислушиваясь...

В избе стояла какая-то таинственная, жуткая, точно живая, как будто чего-то поджидающая тишина.

У порога вздыхал теленок, редко и ровно, точно кто-то потихоньку раздувал небольшие мехи... На печке храпел Левон...

Агафья лежала, глядя в темноту, ждала чего-то и напряженно-боязливо слушала.

Мысли у нее были какие-то чудные, отрывистые, путанные, вдруг неожиданно странно приходившие в голову и сейчас же заменявшиеся другими...

То, вдруг, она себя вспоминала девчонкой... то как она в девках росла, гуляла, как играла с парнями... вспоминала, как ее сосватали... как ее отец напился пьяным и вышиб, обозлившись на мать, раму в избе. Вспоминала, как ее венчали с Левоном... как она под венцом стояла... как ей было неловко... совестно чего-то... Вспомнила, как их с мужем увели пьяные бабы спать... как он обнимал ее, целовал, ласковые слова говорил...

И перед ней в темноте вдруг выплывало, совсем близко, перед самыми глазами, страшное, обросшее рыжей бородой лицо, толстые губы, слюна на них, оскаленные зубы, противный гнилой запах изо рта, тяжелое прерывистое дыхание, и она с ужасом закрывала глаза, но лицо не отходило... Оно было тут, перед ней, страшное, противное, чужое и вместе такое знакомое и близкое...

Она вдруг с мучительной ясностью почувствовала,

вздрогнув от пробежавшей по всему ее телу холодной волны, как это лицо наклонилось к ней, как толстые, горячие, мокрые губы, чмокая и слюнявя, припали к ее рту...

— Батюшка, — застонала она и, поднявшись, села, обхватив обеими руками коленки. — Что-ж это за мука така мученская на мою голову... за что?

— «А ты, дура, мужу-то не сказывай!» — вспомнила она вдруг его слова.

— Как же мне не сказать-то, — зашептала она про себя, точно обращаясь к кому-то, тут же находящемуся, — как же мне не сказать-то? Кабы я по охоте, ну, знамо дело, нешто сказала бы... Муж, чай, он мне... законный... закон приявши не по собачьи жить... Попу на духу все одно пришлось бы каяться... Нешто думано это... нешто я причина...

— «А ты, дура, мужу то не сказывай, — опять как-то насмешливо и потихоньку шепнул ей в уши голос. — Надоел, чай»...

Агафья опять застонала и начала креститься, шепча про себя молитвы, какие знала, и силясь отогнать неотступную, где-то далеко, далеко спрятавшуюся «греховную», как она думала, мысль: «не сказывать бы мужу, то и все бы было по старому»...

Мысль эта и насмешливый голос, повторявший все одно и то же: «а ты, дура, мужу-то не сказывай», неотступно мучили ее и она, как бы оправдываясь перед ними, приводила всякие доказательства тому, что она не могла поступить иначе, а должна была сказать.

Но от этих доказательств ей не делалось легче и, как она ни уверяла себя в том, что сделала хорошо, сказав мужу, далеко спрятавшаяся мысль твердила совсем другое.

— Ну, твори Бог волю свою пославшую, — прошептала она, измучившись от дум, и легла, прикрывшись с головой дерюжиной...

XII.

На дворе, похлопав сперва крыльями, громко, с хрипотой в голосе, несколько раз под ряд, прокричал петух, выговаривая: «вот тебе и ра-а-а-з! вот тебе и ра-а-а-з!...»

За дверью замяукал и царапался кот, просясь в избу...

Агафья встала, отворила дверь и, впустив его, снова легла и снова тревожные мысли и какой-то непонятно мучительный страх, предчувствие какое-то, какой-то беды наполняли ее душу.

Она опять легла навзничь и опять напряженно слушала, боясь и ожидая чего-то...

Храп, доносившийся с печи, вдруг сразу затих... послышалась какая-то возня... затрещала лежавшая там лучина... раздался долгий зевок...

— Тьфу ты! — захрипел Левон и послышался плевок в стену. — Во-о-о-т... а-а-а! Фу-у-у-у, ты!... тьфу!...

— Голову, знать, больно, — подумала Агафья, — натрескался... кабы не это дело, я б его знала как похмелить... а теперича его власть... И где это он денег на вино взял?...

— Испить! — раздалось с печки. — Испить... дай!... смерть моя... тьфу!...

— Сичас! — торопливо перекрестившись и вскакивая, крикнула Агафья, — сичас дам!...

Она бросилась за перегородку к печке, где на скамейке стояли ведра, зачерпнула в кружку воды и подала ему.

— На, батюшка... где ты тут?... на, испей!

— Здесь я... давай!...

Она нащупала в потемках его протянутую с печи руку и сунула в нее кружку.

— Испей на... испей на доброе на здоровье!...

Левон, жадно глотая, сразу выпил все и сказал:

— Смерть!... горит все...

— Давно не пил... от этого, — ласково сказала она.

Он промолчал. Она стояла около приступки, не зная, что делать — отходить ли, или нет... вся насторожившись, чего-то ожидая.

Он тоже молчал. Он слышал, что она стоит тут около, рядом, и тоже ждал.

— Левон, — наконец, не вытерпев больше напряженного молчания, тихонько окликнула она его и еще больше испугалась и вся похолодела.

— Ну-у-у! — сейчас же так же тихо отозвался он.

— Про-про-сти Христа ради! — прошептала она прерывающимся голосом и заплакала. — Убей меня, возьми... ничем эдак-то... не притчинна я... нешто я виновна...

Он молчал. У него болела голова, было горько во рту, горело внутри и какая-то нестерпимая тоска, как камень, легла на сердце...

— Иди сюды! — сказал он вдруг как-то неожиданно для самого себя.

Она вся встрепенулась, обрадовалась, точно выпущенная из клетки птица и торопливо влезла к нему на печку...

— Где ты тутатко! — тихо, ласково, задыхаясь от волнения, спросила она, — не видать в потемках-то?...

Она обняла его левой рукой и, вся похолодев от какого-то сладкого, пробежавшего по всему ее телу чувства, молча прижалась к нему...

Он тоже вздрогнул и то же самое сладкое чувство, как и ее, охватило его.

— Левон, батюшка... родной, ты мой! — шептала она.

— Спирька-то спит? — тихо спросил он.

— Спит.

— Что он... как? как ушел-то я, а?... ты-то, а?...

— Ничего.

— Гостинцев ждал принесешь, — сказал он, — истомился... принесла... спасибо!...

Она промолчала и еще крепче прижалась к нему.

— Принесла, — повторил он, — уважила... эх!

— Прости ты меня, — зашептала она, — не поминай... Верна я тебе... чиста... делай со мной, что хошь... на куски изрежь... нешто я виновата, подумай-ко ты... возмика в свою голову-то...

Он молчал.

— Подумай-ка, — повторила она. — Да я для тебя кажись, в огонь полезу... легко-ли мне... ты бы об этом-то подумал...

— Ладно, ладно, — сказал он, — будет уж! А мне-то сладко?... У меня, может, сердце все кровью изошло...

— Да уж будет тебе! — шепнула она и поцеловала его.

— Будет... да будет... а сама, небось, вот так и яго цаловала.

— Тьфу! — отвернувшись в сторону, плюнула Агафья...

— Небось, обнимала тоже, — продолжал он, — а? Ну-ка рассказывай, — понижая голос, зашептал он. — Как ты с ним... Как у вас дело-то случилось, а?...

— Да будет тебе! Чего ты сам себя раздробляешь-то...

— Обнял, небось, он тебя, а?... такая сякая... милая, мол, хорошая... мужу, мол, не сказывай, а?.. А ты-то чай, а ты-то... рада, небось...

— Господи Суси — рада!... Да брось, Христа ради!... чего ты... и так я убита, а ты... сам себя терзаешь... а меня пуще...

— Что-ж он тебя, как, — продолжал он, — далече оттащил от дороги-то? Кое место-то?

Она промолчала.

— Чего молчишь-то, а?... сердце ты мне все изожгла. Опосля всякого теперича я должен, а? Врешь ты все... как так не могла ты схватить его за глотку-то... другая бы на твоем месте зубами бы с'ела... А ты сама...

— Господи, Суси! — прошептала она и заплакала.

— А ну, как, — зашептал он и весь вздрогнул от внезапно пришедшей в голову мысли, — а ну, как да ты затижалеешь, понесешь, а?... Что тогда делать-то?...

Ужас охватил ее всю сразу от этих слов. Она замерла как-то и до того вдруг испугалась, что перестала плакать и вся похолодела и затряслась...

— Что тогда делать-то? — повторил он с трудом, как-то задыхаясь, страшным шепотом...

— Отойди! — закричал он вдруг злобно и вместе жалобно, со слезами в голосе. — Отойди, змея! Убью я тебя!... зарежу! Из поганого ружья застрелю!...

— О, Господи, батюшка! — заплакала она опять. — Ну, убей!... Возьми да убей... легче мне будет... взял да убил... Батюшки, что мне делать-то! Родимые мои, что мне делать-то?

— Уйди! — закричал он. — Христа ради уйди пока цела... За-а-а-душу я тебя... убью... о-о-о-ох!...

Он оттолкнул ее от себя и, ткнувшись вниз ничком, затявкал, как щенок, жалобно и вместе необыкновенно страшно.

Агафья вся затрепетала, услышав этот его плач-тявканье и поспешно, не помня себя, соскочила с печи, ткнулась на пол рядом со Спирькой, укрылась с головой и замерла, боясь дышать, боясь шевельнуться, слушая, как с печи несется все усиливающееся жуткое тявканье...

XIII.

Под утро, когда стало светло, Левон слез с печки и, заглянув в окно, увидал, что за ночь выпал снег.

Он надел картуз и вышел на крыльцо посмотреть.

На улице было бело, необыкновенно тихо и весело. Мягкий, пушистый снег покрыл и землю, и заборы, и висел, как вата, на сучьях вербы. В воздухе, стоял как бы туман и было тепло. Дым над избами, где топились печки, не поднимался тихо и плавно столбами к верху, как в мороз, а падал на землю и стлался по ней во все стороны...

К стоявшему на крыльце Левону подошел из-за угла соседней избы староста и сказал:

— Здорово, Ляух!.. Сняжку Господь Царь небесный посылает нам грешным...

Левон промолчал...

— На сходку приходи, — сказал староста, — пастухов рассчитывать. — И отойдя шага на три, обернулся и спросил: — Ты с чего это вечор загулял-то... с какой с радости?...

— А тебе что, — пробурчал Левон. — У тебя спроситься что ли забыл?

— Да так я... мне наплевать!... Деньги-то готовь пастухам... Да там за тобой должок есь...

Он сделал еще несколько шагов и, опять обернувшись, спросил:

— Чего это ты штурму-то устроил. Жану-то за что искровянил?

— А ты видел?

— Видеть не видел, а люди сказывали. Шила, друг, в мешке не спрячешь...

— Что-ж, аль она тебе докладывала? — встрепенувшись и сразу почувствовав злость и причину придраться к жене, спросил Левон.

— Бабы сказывали... слышали...

— Ну тебя к лешему и с бабами-то вместе, — сказал Левон. — Тебе-то какое дело?... Ну, бил! Жана моя, что хочу, то и делаю... хочу бью, хочу нет, — мое дело.

— Знамо! — усмехнувшись, согласился староста и пошел дальше.

— Эй, хозяин, на сходку выходи! — крикнул он, постучав бывшей у него в руках палкой о раму соседней избы. — На сходку! — и пошел дальше вдоль деревни под гору, постукивая под окнами и покрикивая: — На сходку! Эй, выходи на сходку!...

Левон постоял еще немного и пошел в избу.

Агафья встала и возилась около печки за перегородкой. Самовар стоял на полу и бурлил, выпуская из-под крышки клубы пара. Пар этот садился на стекла окон, покрывая их точно какими-то тонкими, сероватыми листьями бумаги и от

этого в избе было полутемно и как-то особенно печально. Около порога прыгал на одном месте, подскакивая передними ногами кверху, теленок и то и дело жалобно, звонко и протяжно, точно плача, кричал: мя-я-я, мя-я-я!..

— Чай-то сейчас будешь пить, — увидев вошедшего мужа, робко спросила Агафья, — аль обождать, когда печку затоплю, картошки сварю?

Левон посмотрел на нее, увидал ее избитое, еще больше опухшее за ночь лицо, увидал страшный, глядящий на него глаз-щелку, всю ее робкую фигуру и почувствовал вдруг, что ему стыдно и жалко жены... Но он сейчас же подавил в себе это чувство и грубо и злобно сказал:

— Ты чаво это, сволочь, языком-то натрепала, а?...

Агафья молчала, глядя на него, ничего не понимая.

— Чего бельмы-то вылупила, сука мозговая! — крикнул он, — мало я тебе насыпал... еще захотела... зачем старосте нажаловалась? — У-у-у, сволочь проклятая! Подкладка чортова!...

— Господи Суси! — всплеснув руками, воскликнула Агафья — Я, старосте? Да я яго и в глаза-то не видала бо знать с какой поры... Детища мне вон свово родного не видать, коли вру... издохнуть на этом месте! Что ты, Господь с тобой? Что ты меня обижаешь-то?... За что ты надо мной тиранствовать-то начал? Господи, Господи... я старосте?... Куда я пойду... мне на улицу-то нельзя показаться... Смотрика-сь ты, какая я...

— Так тебе и надыть, — сказал Левон. — Мало. Я еще тебе пропишу по первое число... Дакась мне целковый! — добавил он властно.

— Какой целковый?... на что?...

— Ну-у-у! — крикнул он. — Какой! Деревянный! Не знаешь, какой целковый бывает...

Агафья заплакала.

— Батюшки, — завыла она, — да что-ж это такоича будет то?... очумел ты, знать, совсем, а? Каки у нас целковые... откуда они? За пастушню вот надыть... хлеб... батюшки,

ба-а-тюшки... ро-о-о-димые! Рабенок вон у нас... яго-то пожалей!... Что это тебя нечистый-то осетил... акстись... опомнись...

— Давай! — заревел Левон. — Убью! Мое!...

— Бери! — пронзительно завизжала вдруг на всю избу Агафья. — Бери, чорт ты эдакий... тащи! Пропивай! Лопай! На бери!... Бери... на, на... жри! Лопай!

От ее крика проснулся Спирька и, испугавшись, заплакал и жалобно закричал.

— Тятьк, тятьк, не ругайся! Тятьк не ругайся!...

— На-на! — визжала Агафья, выхватив из под скамейки укладку и роясь в ней. — На, чорт, на, подавись... На, анафема! — пронзительно-громко со слезами в голосе, завопила она, найдя там где-то спрятанные у ней деньги и кидая ему серебряный рубль. — На, лопай! Пропивай! Авось бо даст захлебнешься... На!...

— Да ты что-ж это, сволочь ты эдакая, а? — в свою очередь заорал Левон... — Ты с кем это говоришь-то, а? На кого ты это уства-то свои поганные отверзаешь, а?... Ах ты, подкладка подлая!... Да я... да я... ах ты...

И отвратительно выругавшись, он схватил ее левой рукой сзади с затылка за волоса и начал правой бить по лицу.

— Тятя! Тятя! Тятя! — пронзительно, необыкновенно жалобно и отчаянно, завопил Спирька и бросился к ним...

XIV.

С этого дня Левон стал пьянствовать и пропадать из дому.

С утра он уходил или к Юдихе, или же в соседнее село, где был трактир, казенка, и околачивался там по целым дням, стараясь напиться или на свои, или же как нибудь со знакомыми на чужбинку.

К вечеру он являлся домой совсем пьяный или «выпимши» и, забравшись на печку, начинал орать и сквернословить, ругая Агафью и не обращая внимания на Спирьку.

Агафья как-то совсем скоро извелась, похудела еще пуще, почернела и ходила, «как в воду опущенная», с выражением глубокого постоянного страдания и ужаса в глазах.

Муж совсем «взял», еще так недавно бывшую в ее руках, власть себе и почти неограниченно пользовался ею. Не могла уже она крикнуть или сказать ему, как прежде: «Не ходи! не делай! не дам! . . .»

— Мое, — орал он. — Давай! . . . Убью! . . . я хозяин!...

Каждый день, с утра, начинал он придираться к ней и показывать свою власть.

— Эй ты, шкура! — кричал он с печи. — Залож-ка лошадь... в город поеду... дровишек свезу...

Она обыкновенно молча, скрепя сердце, исполняла его приказание, зная по опыту, что стоит ей только сказать, спросить «зачем», как он кубарем скатится с печки и, вытаращив страшные с похмелья оловянные глаза, полезет на нее с кулаками драться . . .

Все, какие были в доме деньжонки, он помаленьку перетаскал в казенку и раз, когда в доме не было ни гроша, проснувшись утром со страшной головной болью и нытьем под ложечкой, спросил у жены двугривенный и, услышав ее ответ, что денег нет, заорал:

— Как такоича нету, а? . . . Что-ж ты врешь-то? . . . А в городе-то, на книжку-то лежат, а?... Не деньги нешто... Займи поди у старосты под нее целковый . . . Скажи: поеду, мол, на этих днях в город, возьму, мол, там, отдам.

Действительно, у них в городе, в казначействе, «лежало» на книжку на ее имя сто рублей, скопленных, одному Богу только известно, какими способами и сбережениями, на стройку.

— Ну, уж этих денег тебе не видать, сказала Агафья. — Не наши они...

— Как так не наши . . . Чье же? . . .

— Вот чье, — указала она на Спирьку, — яво! . . . Не

видать тебе этих денег, — твердо повторила она, — да и книжки у меня нету . . . попу я ее снесла на сбереженье . . . у него цалей... Ступай, сунься... возьми...

Он озверел и принялся колотить ее.

— Бей! — кричала она, по обыкновению, не сопротивляясь и этим еще больше зля его, — убей до смерти, разбойник, а денег этих не видать тебе... Тащи из дому... лопай... пропивай . . . авось Господь накажет за меня . . . придет конец... потерпела я... придет!..

И, действительно, конец скоро «пришел».

Как-то раз, после уж Рождества, поехал он в город с дровами. Погода стояла морозная, с ветром, с мятелью. Продав на рынке за рубль с четвертью дровишки, он пошел в казенку, взял «половинку», выпил ее на улице и отправился в трактир закусить и попить чайку.

День был праздничный, базарный, и народу в трактире было много. Трактир торговал водкой и, между прочим, допускал каких-то «девочек»...

Обтрепанные, опухшие, нахальные, предлагали они свои услуги пьяным.

Левон сел в угол к железной печке, за свободный стол и заказал чаю, баранок и сотку водки...

Выпитая около казенки «половинка» разобрала его и он сидел, глядя масляными, тупыми глазами по сторонам, как какой-нибудь досыта нажравшийся говядины кот...

Одна из «девочек», рябая и толстая, подошла к его столу, и, остановившись около, сказала сиплым голосом, скаля желтые, большие в огромном рту, зубы.

— Ишь, серый чорт, баранки жрет один... Что бы меня угостить.

— Садись, — сказал Левон.

«Девочка» села и, достав из кармана измятую, согнутую «етапную» папироску, закурила, держа ее как-то боком в углу губ...

— Что-ж, — сказала она, — за пустым-то столом сидеть... Возьми половиночку.

— Ловкая ты, — засмеялся Левон. — Нешто за пустым... а это что? За что я тебя потчивать-то стану.

— За что, за что, узнаешь за что... Стучи, стучи... заказывай... А ты уж, знай, заказывай!..

Левон постучал и велел половому подать «половинку».

— Денег-то у меня самая малость, — сказал он.

— А много-ль? — спросила она.

— Да один целковый знать остался только.

— А две рукавицы-то у тебя... Недавно купил, должно быть?.. На бутылку поднимут, — сказала она, скаля зубы.

— Ишь ты какая ловкая!..

— У ловкого все ловко, — сказала она и, налив в чапку из сотки водку, сразу выпила ее и плюнула на пол. — Дорого все здеся... Пойдем ко мне на фатеру. У тебя лошадь-то где?

— На постоялый поставил...

Половой принес «половинку», открыл ее и, поставив на стол, сказал:

— Загулял, Ванька малый!.. Смотри рот-то не разевай, — добавил он.

К вечеру, совершенно пьяного, непомнящего себя Левона, этот-же самый половой, нахлобучив ему на голову по самые уши шапку, «спускал» по лестнице и говорил:

— Я тебе, чорту, сказывал давеча: не разевай хлебова-то... где рукавицы-то?.. чо-о-о-рт!.. Дураков вас везде учат... так и надыть... Ступай, ступай!.. Дома, небось, жана ждет... дорвался, как волк до падали... Ступай!..

Он вытолкнул его за дверь на мороз. Левон постоял около трактира, мыча что-то, весь какой-то обслюнявившийся, противный и, спотыкаясь, пошел по привычке, как-то бессознательно, на постоялый...

Здесь он нашел свою передрогшую, стоявшую около пустой колоды лошадь, кое-как, тоже по привычке, отвязал ее, обернул, ввалился в дровни и, крикнув:

— Но-о-о, чорт, вшивая, замерзла! — выехал за ворота.

XV.

В городишке стали зажигать огни. С базарной площади все раз'ехались. На улицах было пустынно и тихо.

Проголодавшаяся и передрогшая на постоялом лошаденка ходко и быстро побежала по хорошо ей знакомой дороге домой. Не нужно было править. Ей знаком был каждый заверток и она самоуверенно бежала сперва по какой-то длинной, изрытой ухабами, улице, потом свернула в заулок, повернула налево мимо церкви, перебежала по льду через реку и какими-то огородами, мимо ветхих лачужек, около которых росли старые, толстые, корявые ветлы, выбралась за город в поле.

В поле было холодно, морозно и дул не сильный, но пронизывающий ветер. По низу мело и передувало дорогу. Какая-то серая, печальная, нависшая со всех сторон, как туман, муть стояла в воздухе. Месяц светил, но его не было видно за облаками. Справа и слева, по сторонам дороги, торчали беспорядочно кое-как натыканные вехи, придавая полю и дороге еще более печальный, безнадежно-мертвенный вид...

Левон сидел в передке дровнишек, привалясь боком к правой креслине и время от времени, еле ворочая языком, покрикивал на лошадь: «Но-о-о, дамка, н-о-о!..»

Дровнишки прыгали по ухабам, и он каждый раз на ухабе тоже прыгал, клевал носом, точно кланяясь кому-то.

Одет он был тепло. Снизу полушубок, сверху кафтан с большим, закрывающим и щеки, и уши воротником... Зябли только руки и он, бросив вожжи, засовал их в рукава под полушубок, правую в левый, левую в правый.

Лошаденка, зная дорогу, без понуканья торопливо бежала, кидая из под копыт в дровни комки снега, и по временам как-то покряхтывала, точно чихая.

За полем дорога стала подниматься в гору и лошадь, запыхавшись, пошла шагом. Левона убаюкало и он задремал.

Очнулся он версты за две от своей деревни в лесу. Его точно кто-то толкнул в бок и крикнул: «Эй ты! Что спишь-то? вставай, замерзнешь?..» Он открыл глаза, но все еще пьяный, долго не мог сообразить, где он находится и что с ним делается.

Приподнявшись, он мутными глазами, огляделся кругом... Кругом, и направо и налево, по краям дороги был лес. Над лесом, под прояснevшим и вызвездившимся небом, висел, точно фонарь, месяц и молочно-бледным светом освещал и лес, и дорогу. Вперед и назад по дороге было видно далеко, и Левон, приглядевшись, узнал место, где он ехал.

— Ишь ты, — сказал он, — сичас приеду ко дворам... Заснул и не видал, как приехал.

Он хотел было поправиться и пересесть поудобнее на другое место, но, протянув левую руку и взявшись было за креслину, почувствовал, что пальцы на ней не гнутся и не действуют.

Он как-то сразу опомнился, поднес руку к глазам и увидал, что пальцы сделались точно стеклянными и не гнутся... Он со страхом стал шевелить ими и мять их правой рукой, которая осталась цела только потому, что, когда он спал, она была у него под боком.

Пальцы, как он ни тер их, не действовали и ничего не чувствовали.

— Отморозил, — с ужасом прошептал он. — Отрежут теперича... без руки станешь...

Хмель от этой мысли сразу слетел с него. Он отрезвел и почувствовал, как ему холодно и как его всего трясет от холода, а пуще того от страха...

— Но, но, матушка, но! — жалобным голосом закричал он на лошадь. — Скореича домой. Авось, Господь, даст, ничего. Но-о-о-о!..

Лошадь побежала шибче и вскоре, миновав лес, а за лесом поле, перебралась через овражек и, поднявшись в гору, где была деревня, подвезла Левона ко двору и остановилась у ворот.

Ворота были заперты, и сквозь маленькие, замерзшие стекла окон светился огонь. В избе не спали. Агафья лежала на печке и ждала мужа, чутко прислушиваясь, не заскрипят ли сани, не застучит ли в ворота...

— Отопри! — закричал Левон, постучав в окошко.

Услышав стук, Агафья горошком скатилась с печки и побежала отпирать.

— Ты? — спросила она, отворяя дверь.

— А то кто же! — ответил Левон и, торопливо стуча замороженными валенками по мосту, прошел мимо нее в избу.

— Никак, трезвый, — с удивлением и почему-то еще больше испугавшись подумала Агафья. — Вот чудеса-то... Что такоича значит?

Левон вошел в избу и-так, как был, в шапке и кафтане, весь трясясь и вздрагивая, подошел к лампочке и, подняв руку к огню, посмотрел на нее.

— Агафья, — каким-то другим, непривычным голосом сказал он... — Глянька-сь, никак обморозил...

Агафья взглянула и ахнула.

— Батюшки, — закричала она — отморозил! Где это ты... как? А где рукавицы-то?

— Потерял ли, украли ли — не помню, — сказал он, — выпимши был... уснул дорогой... проснулся — глядь — вот!

Он застонал и взглянул на жену.

— Глядь — вот! — повторил он.

— Догулялся! — заговорила она и заплакала. — Что, батюшка, догулялся!.. Бог-то наказал... говорила: накажет тебя Господь за меня... вот и наказал... Что теперича делать-то, а? Куда ты без руки-то годен? Господи, царица небесная; да что-ж это за напасть за такая на мою голову!.. Больно тебе? .. Владение-то есь в них, в пальцах-то? ..

— Нету . . . нет . . . на вот гляди — кочерыжки. . .

— О, Господи! чтож теперича! . . . Давай маслицем от Бога из лампадки потру... не отойдут ли?

— Водочки бы мне, — стуча зубами, произнес Левон. — Выпил бы... потер бы их... може, отошли бы... Смерть!..

— Догулялся! . . . где жа водочка теперича?

— У Юдихи... чай есь?

— Не даст без денег-то. . . Привез денег-то, а? Ах ты, гулена! . . . сичас сбегаю . . . попытаю. . .

Левон молчал и трясся всем телом, стуча зубами.

— Може, даст, — жалобно сказал он, — сходи. . . . так и так, мол . . . вот какой, мол, грех . . . попроси . . . Христа ради!

— О, Господи Суси! Царица небесная, матушка! — мечась по избе и ища шубенку, твердила с плачем перепуганная Агафья. — Вот наказанье-то Господнее. Говорила: накажет Господь... вот и наказал... Кому вот ты теперь, окромя жены, нужен-то, а? Кому, а? О, Господи батюшка, подохнуть бы уж мне, что ли . . . один бы конец! . .

XVI.

Рано утром, когда только что стала заниматься заря, она повезла его в больницу.

Чернобородый, высокий, красивый, в очках доктор, молча посмотрел на руку, пощупал и, вскинув глазами на Левона, как-то весело, точно это доставляло ему большое удовольствие, сказал:

— Ло-о-вко . . .гм! где это ты, милый друг, ухитрился... небось «выпимши»?

— Да уж известно, барин хороший, не чвирезвый, — ответила за мужа Агафья. — Из городу ехал . . . уснул в дровнишках... рукавиц-то не было... потерял, ишь пьяный-то. . . Правая-то вот рука ничего, цела осталась, спас Господь. . .

— Так, так, та-а-а-к! — повторил доктор, слушая ее. — Та-а-а-к! . . Ну, милый друг, — обратился он опять к Левону, — придется тебе у нас остаться . . . погостить . . . а? хочешь?

— Да уж как ваша милость.

— Сделайте Божеску милость, — вступилась Агафья, — не оставьте! . .

— Ла-а-дно... оставайся... Марья Вениаминовна, — обратился он к сидевшей за столом хорошенькой, с чолкой на лбу, барышне, — запишите. . . Ты откуда?

— Не дальние мы . . . из Овражков.

— Ну, ладно. Так, значит, остаешься?

— Остаюсь.

— Эй, Устин, сведи вот его!... койку ему... белье... все, одним словом... Я приду скоро, — сказал он явившемуся из другой комнаты служащему.

— А ванныю готовить? — спросил служащий, глядя исподлобья усталыми и злыми глазами на Левона.

— Нет, «ванныю» не готовить, — сказал доктор... — Веди... Эй, кто там следующий?... Марья Вапилова... Марья Вапилова! — громко крикнул он. — Пожалуйте!..

В приемную вошла баба.

Левона повели наверх, где были «палаты»...

XVII.

Через неделю — в воскресенье — Агафья пришла навестить мужа.

Лежал он в большой, с высоким потолком, белыми стенами, с одним, выходившим на южную сторону, большим «итальянским» окном, мужской палате.

Все койки в этой палате были заняты больными и в ней, несмотря на сравнительный простор, было и душно, и жарко.

Левон лежал около двери в углу и ему была видна вся палата, с находившимися в ней больными, и видно было в коридор, как там ходили няньки и как там же, напротив двери двигается безостановочно-часто маятник часов и как лениво, нехотя ползут стрелки, показывая время..

Рука у него была забинтована и висела на подвязке.

Каждый день, поутру, он ходил на перевязку. Доктор каждый раз внимательно осматривал пальцы мазал их чем-то и, как казалось Левону, чего-то все поджидал.

— Ничего, милый друг, — весело говорил он ему, — вылечим!... косить будешь и водоянку может, Бог даст, пить бросишь... а? Али нет?... А ты не робей... то ли бывает!... ешь больше... аппетит-то есть?...

— Ем, слава Богу... тоска вот только... скука одолела... сна нет...

— Тоска... гм! пройдет... а ты не тоскуй... Это у тебя от водки тоска... Погоди я тебя угощу одной штучкой и тоска пройдет и спать будешь...

Агафья пришла во время обеда и, оглядываясь и робея, села к мужу, на край койки.

— Ну, что... как тутотко? — спросила она. — Что рука-то... заживает, аль нет?

— Заживает! — усмехнулся Левон, — больно скоро...

— А прикладывают к ней что, аль нет?

— Мажут чем-то...

— Отрежут! — вступился вдруг в их разговор сидевший рядом на койке, только что пообедавший, черный, похожий на цыгана, мужик. — Отмахнут... вот погоди, дай только хорошенько наядрить... Здешний доктор мастак на это... любитель! Ему только бы, сукину сыну, кобыл драть... первое у него удовольствие! Зарезать человека ему, что стакан водки выпить... чик и готово! А ты как хошь вертись апосля... ему что... ему, знамо, наплевать... не больно... ветер-то взад... живорез... ни в Бога, ни в чорта не верит... ничего не боится...

— Чернеть стали пальцы-то, — грустно сказал Левон.

— Все! — с ужасом спросила Агафья.

— Нет, не все... вот эти только....

— Ну вот, — вступился опять мужик, — их и отмахнет... Дай только, говорю, наядрить им хорошенько... Уж это, будьте спокойны, и к маменьке не ходите... быть, тебе, Левон, без пальцев... оставит одну культяпку... приходи, кума, любоваться!...

— Ну, как ты тамотко, дома-то! — спросил Левон, не глядя на жену. — Спирька-то как?...

— Ничего... слава все Богу... об тебе вспоминает все... «где, тятька, говорит, скоро ли придет?» Скучает шибко...

Она вдруг заплакала и, утирая рукой слезы, добавила.

— Наделал делов... Господи...

— Скотина-то как? — опять помолчав, спросил Левон.

— Ничего... теленок вот только мытится что ли — не пойму... пойло пьет плохо...

— Продала бы ты его поскорей от греха.

— Дают-то больно дешево... Был надысь Елкин, Иван Емельяныч, давал три с четвертью, а я пять прошу.

— Отдавала бы...

Они замолчали, не зная, что говорить, и обоим им было как-то неловко, как будто чего-то совестно.

— А я вот тебе лепешек испекла, — сказала Агафья, доставая из-за пазухи узелок, — с творогом... ты, я знаю, любишь, может, поешь домашних-то...

— Сыт я, — сказал Левон. — Напрасно... харчи здесь хорошие... Кусок-то в глотку не идет... тоска... смерть... хочь в удаву полезай... ночи не сплю...

— Думаешь все, небось, — потупившись, вымолвила Агафья, — бросил бы ты это... пора уж...

Левон промолчал.

— К доктору нешто мне зайтить, — сказала она — узнать у него?.. Что скажет, а? Можно? Не заругает?

— Что-ж, сходи.

Они опять замолчали и опять им стало неловко.

— Ну, прощай, — сказала, вставая, Агафья, — пойду я полегоньку... Спирька-то тамотко один с бабушкой, с Дарьей... Приду, буди, опять неровно скора... Не нада-ль тебе чего — принесу... табак-то есь ли?..

— Есь... ничего не надо... Вот только Спирьку приведи с собой... заложь лошадь — приезжай... Чего тебе пешком-то трепаться... любишь ты пешком-то... вот и тогда...

Он вдруг спохватился, замолчал, и, нагнувшись, поправил на ноге чулок.

— К доктору-то, зайдешь? — спросил он.

— А где мне яго сыскать-то?

— Спроси таматко внизу... укажут...

— Прощай!.. пойду я...

— С Богом, — ответил Левон, не глядя на нее...

Она спустилась по лестнице вниз и, узнав где доктор, прошла к нему.

— Ты что? — спросил доктор и сейчас же, узнав ее, воскликнул: — А, это ты... насчет, небось, мужа? Ничего... поправим... не бойся... пустяки... работник у тебя будет!

— А как, барин хороший, — робко спросила она, — пальцы-то целы будут?

— Пальцы-то?.. Гм! Пальцы-то? — повторил он, глядя на нее поверх очков. — Придется ему, любезная, три пальчика отнять...

— Отнять? — переспросила Агафья.

Доктор пожал плечами.

— Ничего не поделаешь, — сказал он. — Вот эти пальцы, — показал он на своей руке какие. — Два по сих пор на прочь, а этот по сих... Два, значит, с половиной останутся... Работать можно!

— А долго они не заживут-то?

Доктор опять пожал плечами.

— А уж этого, матушка, не знаю... как дело пойдет... Не скоро все-таки.

Агафья заплакала.

— Да уж плачь, не плачь, — поморщившись, сказал доктор, — ничего не поделаешь. Много детей-то у тебя?

— Нету... один только.

— Ну, ничего, не горюй... Вот кабы правую руку да совсем на прочь пришлось отмахнуть, ну, тогда, действительно, а это — не велика беда, работать может, да и наука ему: пить, глядишь, перестанет.

— Где, чай, перестанет, не перестанет.

— Перестанет! — успокоительно сказал добродушный и веселый доктор. — Ступай с Богом... приходи, проведывай его почаще — ему веселей.

И когда Агафья, поклонившись ему чуть ли не до земли, вышла за дверь, сказал, обращаясь к сидевшей за столом и что-то писавшей на листках хорошенькой барышне:

— Скверная у него штука... долго проваляется мужик... Эх-хе, хе, — добавил он, закуривая папироску. — Мать, российская держава, силы много, толку мало, белому царю!..

XVIII.

Через несколько дней Левону сделали операцию. Его, как сильно пившего, долго не могли усыпить. Когда же он, наконец, уснул, то сейчас же принялся ругаться, как-то необыкновенно часто и громко выкрикивая отвратительные слова.

Проснулся он, чувствуя страшную головную боль и горечь во рту. Первую минуту он не понимал, где он и что с ним. Когда же пришел в себя и понял и, взглянув на забинтованную руку, услыхал ноющую боль, — ему стало невыносимо грустно.

— Что, родной, — спросил черный сосед, похожий на цыгана, — отмахнули? Я говорил, — отмахнут. Мастак на это. Я говорил: ему кобыл драть. Больно было?

— Нет... не слыхал.

— Отмахнули, — опять повторил сосед, — гм... другие не приставить... Плохо твое дело... Н-да! А все она, все молодка в красном полушалке дело делает... не умеем мы ее пить... Плохо дело!

Левон лег на койку, укрылся одеялом с головой и потихоньку, про себя, заплакал.

. . . .

Леченье затянулось на долго. Появились какие-то осложнения и дело пошло в оттяжку.

Левон похудел, осунулся и от безделья, от всей этой больничной обстановки, от бессонных ночей, от дум, тосковал и мучился.

Агафья первое время навещала его часто, а потом стала делать это все реже.

— Что долго не шла? — спрашивал иногда ее Левон. — Недосуг, что ли? Каки таки у тебя дела?

Агафья молчала на это и как-то испуганно-торопливо опускала глаза и молча, согнувшись, сидела на койке, тоже страшно похудевшая, постаревшая, с какими-то желтыми пятнами на щеках и мешками под глазами...

Прошло три месяца, а Левон все еще «лежал» в больнице и рука все еще не заживала, и доктор, когда он спрашивал у него — «скоро-ли?», — говорил:

— Погоди... успеешь... скоро теперь.

— Уж очинно скучно́, ваше благородие, надоело.

— Мало что, милый друг, надоело... ничего не поделаешь... терпи... скоро выпущу... вот после Пасхи... прямо пахать...

. . . .

В марте, в самое Благовещенье, Левона пришла, вместе со Спирькой, навестить Агафья.

День был чудесный, теплый и солнечный. В палате было жарко. В большое итальянское окно лились целыми потоками какие-то радостные, какие-то новые, теплые, ласковые лучи солнца.

— Разденься, — сказал Левон жене, лаская Спирьку, — чего это ты укуталась, словно мороз сто градусов?.. жарко!

— Ничего... я так посижу... все едино...

— Не велит доктор, одемшись-то... скидай одежу-то... положь вон пока под койку...

— Да не надать, — опять сказала Агафья, — я так...

— Да что ты, дура, боишься... раздевайся! Неловко так-то, ишь жарища, как в бане... чего тебе греть-то... раздевайся... сымай... посиди... торопиться-то некуда... скоро чаем поить будут... Спирька мою кружку пущай пьет... Раздевайся. Скука тутатко лежать-то... лежишь, лежишь — смерть!..

Агафья как-то нехотя, точно это ей было необыкновенно трудно делать, не глядя на мужа, сняла с себя верхнюю теплую одежду и осталась в одном платье.

— Чего раздеваться-то, — сказала она, — я бы и так... мне не жарко.

Она наклонилась, стоя к нему боком, и стала подпихивать под койку снятую одежу. Левон посмотрел на нее и вдруг его точно кто-то ударил по голове так, что у него помутилось в глазах и захватило дыхание.

— Ты, — едва переводя дыхание, шопотом сказал он, — никак с прибылью?

— Что ты, — так же шепотом, сказала Агафья, — нет... я... ничего.

Она села на край койки и, наклонив голову, заплакала.

— Что-ж ты не сказывала-то? — глухо вымолвил Левон, чувствуя, как острая, жгучая боль схватила его за сердце так, что ему стало трудно дышать.

Агафья молчала, потом едва слышно сказала:

— Думала все так, мол... сама себе не верила. Как говорить-то?.. Нешто мне сладко...

— Что-ж теперича, как же? — спросил Левон.

— Не знаю, — ответила она и еще ниже нагнулась. — Не знаю, — повторила она, — измучилась я... легче бы из меня жилы тянуть, ничем это... прости Христа ради!

— Бог простит! — сказал он, кривя усмешкой рот. — Спасибо тебе! Уважила вот как, по самое горло... Эх, Агафья!.. Руку вот из-за тебя потерял... Что ты со мной сделала... Убила ты меня... зарезала без ножа...

Агафья молчала.

— Ступай, — сказал он, тоже помолчав, — чего ж сидеть-то?..

И видя, что она не двигается, сердито и твердо, каким-то страшным шепотом, оглянувшись по сторонам, добавил:

— Ступай, сволочь, с глаз моих долой!.. Погоди, повешу я тебя и твого... Ох!..

Агафья, молча, не глядя на него, какая-то необыкновенно жалкая, худая, точно избитая бродячая собака, нагнулась, достала из-под койки одежу, надела ее на себя и, взяв за руку Спирьку, сказала:

— Пойдем, сынок, домой... время... пора... простись с отцом-то...

— Не надыть, — махнув рукой, сказал Левон. — Ну, вас!

И сейчас же, не дожидаясь, когда они уйдут, лег на койку и, уткнувшись в подушку, закрылся сверху одеялом.

XIX.

Всю дорогу из больницы домой Агафья плакала. Какой-то необыкновенный страх напал на нее. Она с ужасом представляла себе картину, как придет ей время родить. . .

— Господи, в самую рабочую пору!.. Беда-то какая!..

— Господи, помилуй! Господи, помилуй! — шептала она про себя, идя позади Спирьки. — Что-ж тогда будет-то? Что с ним тогда делать-то?

То, что она «затяжелела», она знала с первого же месяца после того, но «не верила сама себе» и утешала себя обычным: «авось, что неправда, авось, мол, Бог даст, как-нибудь обойдется»... Когда же она совсем уверилась, когда уже в этом не было никакого сомнения, она ужаснулась тем последствиям, которые произойдут от этого, и стала редко и на самое короткое время посещать мужа, стараясь надеть на себя что-нибудь попросторнее, пошире, чтобы не было заметно.

От постоянного страха, бессонницы, и тяжких дум, чувствуя постоянно в самой себе то, чего она не хотела, чего пуще всего боялась, она вся извелась, сделалась «черней грязи» и стала напоминать своим видом помешанную, какую-то кликушку...

Когда же еще до «второй половины» она почувствовала, что он потихоньку толкает ее в бок и точно говорит этим: «вот он—я... здесь... жив», на нее напала оторопь, необычайный ужас, и ей стало казаться, что там у нее толкается не ребенок, а что-то другое, нечистое и страшное, и ее, когда она лежала по ночам на печке или около Спирьки на полу, терзала мучительно, настойчиво, неотступно, страшная

мысль: как бы избавиться от него, как бы уничтожить его до прихода из больницы мужа.

Как надо сделать это, она не знала. Спросить, узнать у кого-нибудь — нельзя. «А тебе, скажут, на что это знать? Аль сама хочешь так сделать?»

Слыхала она, что бывают выкидыши от тяжелых под'емов, от того, что «ежели вот спрыгнешь откуда-нибудь».

Она старалась поднимать все, что ей не под силу, все тяжелое... огромный ушат воды за ушки, огромную вязанку сена...

Но ничего не помогало. Он стучался все чаще и сильнее и настойчиво говорил:

— Вот он я... здесь... жив!..

Тогда она принялась за другое, принялась за прыганье...

Проделывала она это обыкновенно поздно вечером, когда уже давно засыпал Спирька и когда на деревне погасли огни, все ложились спать и делалось тихо.

Она зажигала фонарь, выходила на двор, плотно прихлопнув за собой дверь, вешала фонарь на нарочно вбитый для этого в столбе гвоздь и с каким-то страхом, пугливо оглядываясь и прислушиваясь, приставляла с высоколежавшего, накопившегося за зиму навоза, к переводу лесенку, лезла по ней на этот перевод и прыгала с него вниз...

При слабом, трепетном свете фонаря, освещавшем не весь двор, а только небольшой круг по средине, с какими-то удивительно таинственно и мрачно ложившимися трепетными от этого слабого света тенями от мрака, стоявшего по углам, она, делая свое безумное дело, была необыкновенно страшна, как какая-нибудь сказочная колдунья.

Выставив свою рыжую с белым пятном на лбу голову, в полосу света, глядела на нее большими, мокрыми глазами корова, задумчиво пережевывая жвачку и шумно вздыхая.

В углу, в огороженном месте, жались друг к дружке, тараща на свет глаза и топоча ногами, испуганные, любопытные овцы.

Каждый раз, забравшись на перевод, прежде чем прыгнуть, Агафья крестилась и шептала: «Господи, благослови» и тогда уже прыгала.

А он через самое короткое время, точно угадывая ее мысли, стукался и говорил ей этим свое обычное:

— Вот он — я... жив!

XX.

После Пасхи, в апреле, на Фоминой, когда сошел весь снег, когда прошли говорливые, полные вешние воды, когда прилетели журавли и стояли необыкновенно теплые, солнечные дни, выписался из больницы Левон и пришел домой.

В больнице он похудел, оброс и глядел угрюмым волком.

В последний раз Агафья была у него в больнице в Благовещенье и с тех пор, даже и на Пасхе, не ходила туда.

Возвращение домой не вызвало в нем никакой радости. Напротив, все ему казалось как будто не своим, ненужным и совсем не интересным.

Да и хозяйство, за время, пока он «гулял» до больницы и лежал в больнице, опустилось: все — и двор, и стройка, и скотина — глядело убого, худо, бедно, печально.

Агафья ходила, «как помешанная», пугая своим видом. Она избегала мужа и он избегал ее.

Он не мог равнодушно и спокойно видеть ее огромный теперь живот, и весь содрогался и холодел, и скрипел зубами от муки, видя ее.

После Фоминой, на «жен-мироносицкой», в понедельник выехали пахать. Выехал и Левон.

Погода стояла чудесная — теплая, солнечная. От земли шел пар, она точно дышала.

Весело и радостно было в поле!

— В борозду! Ближе, ближе! — кричали на лошадей, пахавшие на своих полосах мужики.

За плугом, по только что отвороченным пластам земли, ходили желтоносые грачи, вороны, галки, скворцы, собирая

червей. В воздухе заливались жаворонки и иногда высоко пролетали журавли... Все было радостно, весело и ново.

Не радостен был только Левон, не весело у него было на душе. Черная, злая мысль, жгучая и нестерпимая, сверлила его мозг.

— Пашу вот — думал он, идя за плугом и мало обращая внимания на лошадь, — а для кого?.., родит скоро какого-нибудь... тоже мальчишку... Что ты станешь с ним делать?.. мой... законный... рости его... хлеб жрать будет... тятькой звать будет... выростет, его часть не умершая — отдай!?. Корми его, старайся, ворочай... Тятькой звать будет, — повторил он и ожесточенно хлестнул лошадь. — Удушить его, чертенка, боли никаких... На кой он мне!..

Приехав домой после работы и усевшись за стол «хлябать» щи, которые подала ему Агафья, он вдруг, совершенно неожиданно для нее, спросил:

— Скоро-ль у тебя эта-то?

У Агафьи опустились руки от страха и она едва слышно произнесла:

— Должно аще не скоро... к Илье к Пророку надо быть... по моему-то щету...

— Ло-о-о-вко! — протянул Левон. — На самую, значит, на рабочую пору... И чорт тебя понес тогда, прости ты меня, Господи, не за столом будь сказано, загорелось... — Куда его деть-то? — спросил он, помолчав и глядя на нее.

— Не знаю, — чуть слышно отозвалась Агафья.

— Ты бы как-нибудь того, — начал он и запнулся.

— Пробала, — опять так же тихо сказала Агафья.

— Пробала, — точно так же тихо и чему-то обрадовавшись, переспросил он, — ну?

— Нету пользы... Уж я чиво не делала... и так, и сяк... и поднимала-то тижало, и с переводу-то на двор прыгала... Нешто мне сладко... А грех-то какой, Господи! На том-то на свете мне за это что будет... Нешто он, ежели по правде-то говорить, виноват... Не он вить меня нашел...

— А кто-жа... жалко?!.

— Кабы жалко, не делала-б этого... так я говорю, а уж ты взаправды... Сладко мне!.. Може бо даст... жить не будет...

— Ну, это неизвестно, — сказал он. — А только вот что я тебе скажу, Агафья, не нужен он мне... не надоть! Куда хошь девай!

— Да куда-ж я его... Господи!..

— Куда, — сказал он и, не договорив того, что хотел сказать и что она поняла сразу, посмотрел ей в глаза.

— А грех-то? — сказала она и вся похолодела. — На том-то свете...

— Боли греха будет, коли оставишь, — сказал он и, не дохлебав щей, вылез из-за стола и вышел из избы, куда-то на улицу...

XXI.

С этого разу, каждый день, при всяком удобном случае, он говорил ей или даже не говорил, а только смотрел исподлобья на нее какими-то «разбойничьими», как она думала про себя, глазами, и она понимала, что значит этот взгляд.

Выйдя из больницы, он совсем почти перестал пить, меньше стал ругаться и не трогал жену, не бил ее.

Но Агафье от этого было не легче, ибо он вместо битья и ругани «взял моду» изводить ее словами.

— Ну, как, скоро ли, — говорил он и зло смеялся... — Надоело! Куды его денешь-то?... Мне не надо...

И по мере того, как время подходило, он делался все «ядовитее».

— Что-жа ты?! Должно быть, язычком только трепать мы умеем, а самой жалко.

— Господи, Суси! Нешто я виновата. Вот, погоди, придет час, делай в то поры, что хошь... хошь топи, хошь дави...

— Стану я душу сквернить из-за всякого, прости Господи, чертенка... Твой небось... твое чадо... ты и делай.

— Я, небось, тоже хрященая... За него тожа ответ дать Господу на том свете... нешто он виновен?... така-жа андельска душка бесгрешная...

— А, жалко стало! «Андельска душка». Погоди, повешу я тебе эту андельскую душку на шею, дай только твоему часу-то притти... Что-то больно долго не идет он, час-то твой этот... Придушить, да и вся недолга... Жалость припала... должно угодил тот-то... О-о-о, дери тебя чорт и с ним-то! Задушу! Обоих задушу.

— Взял, да и придушил... О, Господи Суси, скоро ли конец-то мучению-то моему? Взаправду уж придушил бы, легче бы мне было, ничем измываться-то... Измучил ты меня... извел! На кого я стала похожа-то? Ни на эстолько вот у тебя ко мне жалости нету... Зверь ты!..

— А ты кто? А ты что со мной сделала?.. Мне-то сладко... Эва она культяпка-то... по чьей милости, а? Меня вон ручкиным стали звать...

— О, Господи Суси — воскликнула с плачем Агафья, — скоро ли конец-то этому? Господи, Царь небесный, смилуйся, развяжи грех! О, Царица небесная, матушка, за что я такоича таку скорбь несу... За каки таки грехи наказал меня батюшка Царь небесный!.. Ой, скоро ли конец-то! Ба-атюшки! ро-о-одимые!..

XXII.

Пришел и конец.

Пришел он после Петрова, в июле, под самую Казанскую.

Дело было ночью. В избе, где было и душно, и жарко, лежала только одна Агафья. Спирька уехал с вечера с ребятишками в ночное, а Левон спал в сенцах за дверью, на холодке.

Еще давеча, днем, после обеда, убирая с мужем на усадьбе сено, таская его на носилках огромными скирдами в сарай, почувствовала она, что ее «час» подошел, но испугавшись, промолчала и с огромными усилиями, стиснув зубы, таскала скирды...

Левон нарочно складывал скирды как можно больше и «запрягал» жену вперед, думая, что «авось, мол, с натуги-то, не сделается ли ей что» и понукал ее, покрикивая, как на лошадь.

— Но, но, небось!.. ишь ты, барыня, аль тяжело?!.

Задыхаясь, с трясущимися руками и ногами, вся желтая, с глазами, в которых горели боль и ужас, таскала она скирды, слыша, как стучит в груди сердце и стучит в голове настойчиво, болезненно-однообразно и мучительно, все одно и тоже. — Теперь скоро! теперь скоро! теперь скоро! — Легла она не поужинав и не стала собирать Левону.

Он покосился на нее и, усмехнувшись, сказал:

— Что, аль никак кончик подходит?

— Подходит, — ответила Агафья, — радуйся! Может бо даст, подохну... тебе развязка... ищи тогда другую, хорошую...

Левон собрал сам себе поужинать, поел и ушел в сенцы...

Вскоре после его ухода Агафья почувствовала первую схватку и, вся похолодев от испуга и боли, стиснула зубы и только как-то зашипела сквозь эти зубы, точно засвистала...

— Баушку бы надыть, — мелькнуло у нее в голове, — как же так-то, Господи!.. Умру... смерть моя... о-о-о!..

Немного погодя схватка повторилась с удвоенной силой. Агафья еще пуще испугалась и, не вытерпев, закричала.

Левон услыхал и босиком, в одной рубашке, соскочил с досок, на которых спал, и на цыпочках побежал в избу.

— Что ты? — шепотом спросил он.

— Час мой приспел... баушку бы... Кончик мой... О-о-о! о-о-о! Лявон... ба-а-тюшка!

— Тише ты... не кричи! — испугавшись чего-то и весь, вдруг начиная трястись, сказал он. — Не надыть баушку... так ты... авось... где теперича ее... дело ночное... не кричи ты шибко-то...

— О-о-о-ох! смерть моя! родимые, смерть моя! — завопила вдруг Агафья от нестерпимой, охватившей ее боли. — Ох,

Лявонушка, батюшка, умираю, смерть моя... кончик мой!... Вздуй, хоть, лампадку-то, догадайся... Злодей ты эдакой! му-учитель!

Левон, суетясь, тыкаясь по избе, испуганный и не перестающий трястись, нашел где-то спички и «вздул» лампаду.

— Кончик мой, умираю! — вопила Агафья. — Без покаянья... без попа... ба-а-а-тюшки! родимые!..

— А ты не ори шибко... скрепись, — опять сказал Левон. — Терпи... не первый снег на голову... авось обойдется... сама вин...

Но, взглянув на нее, при слабом свете лампадки, он не договорил того, что хотел сказать и замолчал.

Стаканчик в лампадке, где горело масло, был цветной, желтый.

Агафья то замолкала на минуту, то снова выла, а свет от желтого стаканчика падал прямо на нее и лицо у нее, без того желтое, выглядело теперь еще желтее и было страшно.

Левону жутко было глядеть на жену и он отошел за переборку к печке и встал там, не зная, что делать.

Агафья то замолкала на минуту, то снова сейчас же еще громче выла, стонала и кричала.

Под утро она совсем выбилась из сил и металась по полу, страшная, растрепанная, с перекосившимися синими губами, кусая себе руки, вырывая космы своих волос...

— О-о-о-ой! — стонала она, — смерть! пришла!... дождался... о-о-ох! Лявон... Ляво-онушка!..

Но Левона около нее не было. Он не вытерпел и ушел из избы за дверь, в сенцы, на мост, и стоял там, слушая ее стоны, и поджидал.

— Скоро ли, — шептал он, трясясь от внутреннего волнения, — скореича-бы... ишь вопит... свет скоро... вон уж бело стало... народ встанет... Ах, провались ты совсем, как вопит! Не двойни-ли грешным делом Бог дает... не померла бы... долго что-то... не стронула-ли... — проговорил и весь как-то притаился, присел на корточки и замер, слушая...

В избе раздался вдруг какой-то удивительный, по своему страданию, вопль и вслед за ним, сейчас же настала тишина и, в этой тишине, напряженный слух Левона разобрал какой-то слабый писк, похожий на писк мышенка.

— Готова! — сказал он, похолодев, — простил Бог... что жа теперича?!.

Он приотворил дверь и на цыпочках, крадучись, как вор, вошел в избу.

В окна с улицы глядел уже в избу слабый свет начинающегося утра и, перемешавшись со светом лампадки, тускло и как-то необыкновенно странно, точно нехотя и с испугом освещал избу...

— Агафья! — окликнул потихоньку Левон. — А Агафья!.. что ты... как?

Агафья молчала. Она лежала навзничь, раскидав руки, с открытым ртом и не шевелилась.

У ног ее, на сбитой, скомканной дерюжине, копошилось что-то и тихонько и слабо пищало...

— Агафья... матушка, — шепотом и со слезами в голосе, чувствуя какую-то необыкновенную слабость во всем теле, опять окликнул ее Левон.

Она все молчала.

Тогда он, крадучись, как охотник под тетерева, подошел к ней, нагнулся и взял ее руку.

Взял и сейчас же бросил. Рука была, как «плеть», неподвижная, холодная, не живая, страшная.

— Обмерла, — прошептал он, чувствуя невыразимый ужас в душе. — Очнется, бо даст... ничего...

И, встав около ее головы на колени, нагнулся и заглянул ей в лицо.

Прямо на него, почти в упор, глядели, ничего не видя, большие, широко открытые, вышедшие из орбит, глаза, а разинутый рот, с ощеренными зубами и с пеною по углам, точно смеялся.

— Агафья... Агафьюшка, — не веря тому, чему нельзя было не верить, — заговорил Левон. — Что ты это...

опомнись... будет тебе пугать-то, а? Агафья... слыш что ли?..

Она молчала, не двигалась, а вместо ее, у нее в ногах что-то запищало опять тихонько и жалобно и закопошилось.

У Левона упало сердце и он потихоньку, как зверь, на четвереньках, переполз от Агафьиной головы к ногам, туда, где пищало и копошилось это что-то...

Он увидел маленькое, как комочек, как куколка какая-то с ножками, с ручками, с головкой, шевелившееся, издающее писк тельце и, протянув руку, схватил его сначала было за головку, но сейчас же проведя рукой по чему то теплому, нащупал тоненькое, скользкое и изо всей силы давнул...

Что-то, как ему послышалось, как будто слабо хрустнуло у него под рукой, — точно сучок переломился — и он, вдруг поняв, какое зло сделал, вскочил и, не помня себя, охваченный ужасом и еще чем-то большим ужаса, побежал из избы на улицу.

На улице было светло и на востоке горела красная, как кровь, заря.

Прямо ему навстречу, около избы, попался едущий верхом из ночного Спирька.

— Тятька, куда ты? — крикнул он. — Куда ты таку рань раздевшись-то?..

Левон не слыхал и, махая руками, точно ловя что-то, побежал вдоль деревни, вниз под гору...